

РОССИЙСКАЯ ПРОЗА

НА РУБЕЖЕ

XX – XXI вв.

Владимир
ЛИЧУТИН

Скитальцы

Владимир Владимирович Личутин

Скитальцы

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174433
Владимир Личутин Скитальцы: ИТПК; Москва; 2003
ISBN 5-88010-131-2*

Аннотация

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в современной литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский парод и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».

Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас,— той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь..

Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома, отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать благословенное и таинственное Беловодье — землю обетованную.

Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада, чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.

Содержание

Книга 1	4
Часть первая	4
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	11
Глава четвертая	15
Глава пятая	21
Часть вторая	25
Глава первая	25
Глава вторая	27
Глава третья	29
Глава четвертая	32
Глава пятая	34
Глава шестая	39
Часть третья	44
Глава первая	44
Глава вторая	60
Глава третья	68
Часть четвертая	76
Глава первая	76
Глава вторая	91
Глава третья	94
Глава четвертая	97
Глава пятая	104
Глава шестая	110
Глава седьмая	116
Часть пятая	120
Глава первая	120
Конец ознакомительного фрагмента.	128



Владимир Личутин

Скитальцы

Книга 1

Долгий отдых

Часть первая

По чьей речке плыть, той и славой слыть.
Поморская поговорка

Глава первая

Поданным в здешнюю канцелярию доношением крестьянин Дорогорской волости Калина Богошков изъяснил, что в прошедшие перед сим годы, а в которые именно, не упомнит, дядя его двоюродный Степан Богошков отдал прародительную пашенную землю в приданое с теткой своей Улитой, выданной в замужество за крестьянина Афанасия Таранина. Они померли, а завладел тою землею брат Таранина и отдал во владение зятю своему, крестьянину той же Дорогорской волости, Петре Чикину, который законных крепостей на то владение не имеет.

А как прочих наследников не осталось, кроме вышеозначенного Калины Богошкова, то и просит он вернуть ему во владение прародительную землю.

Из указа Архангелогородской губернской канцелярии

Время по-пустому шло, да и деньги проживал: Архангельский – город большой, много всего требует. На постое у плотника адмиралтейского Киприяна Васильева был, тот ходил в присутственные места, обещался помочь, но тоже колесом копейка. За труды и помехи купил ему Калина пимы из оленьих камусов, подарком подал, а жене своей взял в базарной лавке крест серебряный тонкий с цепочкой трехколесчатой да два платка александрийской пестряди, обложенных вологодским кружевом, да рукавицы белые ровдужные, подбитые лисьим подчеревкой. Как разложит подарки на столе, да ну вздыхать тяжело, тут и слезы шипучие близко подступят. Хозяин утешать возьмется постоящика, а не примет в толк, что не по тяжбе горюнится, а по дому тоскует. Уж нет-нет и махнет рукой: леший с ней, с землей-то, – морем живем. Да вот обида в груди негасимо тлеет... Прилюдно на мирском сходе опозорил Петра Чикин, с грязью норовил смешать, со злым умыслом иль для баловства, но выхаживался перед народом, тыкал в Калину пальцем:

– Гли-ко, сколь велико, посмотри-ко, сколь большо. Вы послушайте, у него и говоря-то не людская, у него и мать – чернотропка с Пезы, да и баба оттуль же.

Поначалу разговор-то пустопорожний шел, но тут словно бы кто подбил Петру Чикина для сытого бахвальства, и задел он Калину за самую душу. Так больно зацепил, что разом загорелся тот, пронзительно закричал:

– Ты бабу мою не замай, слышь, харя бычья. Ты к бабе моей не касайся, заугольник.

– Осподи, было бы чудо. Да я рядом и с... не сяду.

Калина принагнулся, подбирая с дороги, что к ладони ульнет, потяжелее и поувесистее, мужики притихли, что-то будет, но тут парень подогадливей крикнул: «Каля, тебя жонка кличет, велит домой идти».

Еще в гневном жару вспомнил вдруг Калина то, что в памяти неслышно тлело с давней поры, и выплеснул Петре в рыхлое лицо:

– С моей пашни колоба жрешь. Так попомни: последний раз сеял, последний раз пахал.

Сказал и, не сгибая сухой спины, по-птичь подсакивая, ушел в избу. А другим утром в Мезень поехал, в уездную канцелярию прошение подал. Там отказали, на Окладниковской шняке¹ в Архангельский город ушел и с той поры вот уж месяц, как деньги проживал и по жене маялся: тяжелой оставил желтоволосую Тину. Как отправляться в город, наказывал: если сын явится – Донатом нареки, – давножданный, значит.

¹ Шняк – поморское судно. (Здесь и далее примеч. автора)

И только в самый конец августа милости дождался: «Просим означенному крестьянину Петре Чикину во владении тою землею учинить запрещение, а Калине Богошкову, яко законному наследнику, оную землю возвратить». С такой бумагой за пазухой чего зря мешкать? Навестил соломбальскую вдовую купчиху Прасковью Кудинову и подрядился следующим летом на ее шняке подкормщиком сходить до Матки². Потом стал и попутье искать в торговых рядах, у лавок каменных и деревянных на базарном торжище, где запах трески жил, палтосины да зубатки; и на прибегищах³ высматривал, не застоялась ли где мезенская посудина. Но с летнего берега стояли лодьи да шняки и всякие новоманерные суда, да с Кеми изукрашенные по носу гукоры, да золотичанские широкоскулые карбасы и шкуны, да парусники торговые из Норвегии, да шенкурские тягловые баржи, а своих вот никого не сыскал, не нашлось морского попутья до дому.

Тогда с плотником Киприяном за ручку простился, а с его хозяйшкой – низким поясным поклоном и побежал пинежской дорогой в родную деревеньку. Дорога жила людно в предосенние дни, все торопились поспеть до заливных дождей, засуху попасть по домам. Обгоняли Калину телеги двусосные скрипучие. С тех жалостливо и любопытно окликивали: «Куда, мил человек, топаешь?» Попадали навстречу калики перехожие с пестерями на горбу, те норовили табачку выманить. Скоро проезжали уездные исправники да землемеры в тарантасах, еще по-летнему, с откидными верхами; один раз и тройка чуть не стоптала, так пена лошадиная на плечах и осела, только ямщик крикнул уже за спину: «Глухарь сивый, ослеп, што ли?» Почувствовал Богошков, как облило холодом спину, оступился в придорожную канаву, не сдержался, сгоряча матюкнулся и сразу полегчало. «Леший на смерть несет. Вавилон какой-то, прости Господи. Как есть – столпотворение, – еще подумал Калина, приходя в себя. – Много ли надо? Оглоблей по голове, тут и ложись сразу и помирай».

В деревнях Богошков на постой не становился, к питейным дворам не заворачивал, на чужую телегу не прискакивал, чтобы ненароком не задержаться. Порой дорогу срезал, выходил на пожни. В лугах редело, отава загрубела и поднялась по щиколотку; днем она отпотевала и податливо ложилась под ступню. Лист на березе залубенел, подсох; понизу деревья тронуло желтизной, опалило слегка; смородинные кусты посветлели, и проглянули солнечные дробины ягод; они прохладно скатывались в пригоршню и студили кожу. Птицы гомонили в черемухах, объедались и тут же сваливались в папоротники, сонно закрывали глаза от сытости и осеннего дурмана и пугливо взлетали из-под самой ноги. Уже вершины зародов прогнулись лошадиными хребтинами, и еловый лапник под дождями ловко прильнул к тугим бокам. Наверное, из лесу выходили лоси – манило сено – и в подножьях темнели выеденные норы. Солнце уже не палило люто, комар свалился к болотам, доживая последние деньки, и лесными пожнями спешилось радостно.

Но однажды в душе Калины родилась боязливость: вспомнилась желтоволосая Тина, как она не отпускала его от себя, словно чуяла что, льнула опущенной тяжелой грудью, а лицо было восковое, с набухшими подглазьями. Богошкову почудилось, что жена вот сейчас умирает, и, опьяненный багульником, он опрометью кинулся набитой тропой, пока не задохнулся от колотья в груди и не свалился от усталости на маленькой лесовой чищенице⁴.

Вечерами уже выстывало и темнело скоро. Гудели ноги, но, побарывая усталость, Калина развел костерок. Огонь сразу выхватил копешку невдалеке, черные низы деревьев; темь сдвинулась навстречу и плотно окружила пламя. Оступаясь в ручьевине, нащупал ногою место поглубже, зачерпнул воды в медный котелок, подвесил на рогульку. Вдруг кто-то заполошно всхохотал, тяжело пролетел в темноте, трогая крыльями ветви. От Калины на

² Матка – Новая Земля.

³ Прибегище – пристань.

⁴ Чищеница – лесной сенокос.

траву легла незнакомая гнутая тень, она невпопад шевелилась, ломаясь на стволах деревьев, и внезапно пугала. В отсветах костра опять мелькнула любопытная птица, похожая на большую оленью рукавицу, непугливо уюстилась на нижней ветке. Острые уши встали торчком, зеленые глаза горели бесовски. Калина выхватил из костра горящий сук и бросил в птицу. Она неохотно снялась и поплыла в глубину леса и еще долго ухала там.

Богошков неуютно чувствовал себя в лесу. «Только бы до утра доманить. Ой, к несчастью эта лешева птица». Осенил троекратно крестами, уминаясь в копне. Из темноты на него глядел желтый зрачок костра, потом только легкий свет еще недолго жил, открывая траву, но вот и он умер, а Калина все ширила глаза, вглядываясь в подвижную тень. Мелко шелестел осинник, казалось, сыпал с неба занудный осенний дождь, и под этот трепет Калина забылся. А очнулся внезапно, уже белым днем, так показалось вначале, и сквозь сennую паутину вдруг увидел тяжелую горбатую голову, мягкие коровьи губы в тягучей зеленой слюне и желтые звериные зубы, которые тянулись к самому лицу. Богошков невольно отодвинулся в глубь копейки, а лосиха, разглядев Калину, непугливо удивилась, широко зевнула идохнула на сонного мужика теплом и молоком. Калина наблюдал за лосихой, и все для него казалось внове. Он давно отвык от земли, от пожни, там до десятых потов маялась Тинка, а сам он пропадал в море, лишь изредка появляясь в доме, чтобы запастись харчем на следующий промысел да намиловаться с бабой.

Лосиха вдруг отпрянула в сторону и кинулась к лесу, широко разбрасывая клешнятые ноги. Не иначе кто спугнул, лениво подумалось. Ноги отмякли за ночь и держали слабо...

А у вчерашнего огнища двое стояли и в его сторону поглядывали: один простоволосый, сутулый, другой – поприместее, в треухе. С одним бы дак и гореванье не особое, наклали бы плюх, но второго-то, пожалуй, и оглоблей не спехнуть. Заскребло у Калины в груди, и сразу сон вспомнился. Обращают, ей-Богу, обращают... Согнулся – нож за голенищем, пестерек не спеша закинул. А те, двое, мялись с ноги на ногу, будто устали ждать.

Еще всмотрелся, от натуги глаза заело и вроде бы омыло их легким, влажным туманом, а на душе полегчало вдруг. Признал Калина того, сутулого; вроде бы Степка Рочев, с Няфты парень, давно ли рекрутил, сказывали, три дня гулеванье шло, легкий на ногу, верховой мальчишка, но с чего бы ему тут околачиваться? А те устали ждать, пошли навстречу, волоча ноги. На коренастом мотались плисовые алые шаровары, сапоги разбиты – и босые распухшие пальцы видать; нос когда-то перебит в драке и криво сросся, а в правой руке черемуховая палка с тяжелым наростом. Степка Рочев в синих пестрядинных портах, костлявые ноги выпирают, и в рубахе из белого холста. Рубаха вся в саже, видно, что в курной избе ночевали, да и лица от спанья посоловелые, опухшие. Степка словно бы мимо смотрел, а когда Калина крикнул заранее: «Степка Рочев, а ты откуда?» – что-то дрогнуло в его лице.

– Это чего он? – спросил коренастый, кивая на Калину, и Степка непонимающе пожал плечом.

Голова у коренастого, круглая и мохнатая, сидела по-медвежьи, в густой непролазной шерсти застряли сennые паутинки. Богошков пристальнее вгляделся, признавая парня, но не припомнил его и решил, что чужой кто, пришлый: много их, беглых, околачивалось по лесам, разбоем жили. Еще посмотрел Калина на свои сапоги, и жалко стало: ведь совсем новые, в Архангельском купил, как домой бежать, а шел всю дорогу босиком, прижимал, но, видно, отдать придется. Уж вплотную тати были, черемуховой палкой можно достать, а Богошков все решал, братья за нож или нет. На всякий случай еще позвал Рочева, чтобы не промахнуться.

– Степка, во дурной... Ты что, соседа не признаешь? Разбогател, что ли? Это же я, Калина Богошков с Дорогой Горы. В Няфте-то у меня того... слышь? Тетка Акулина в соседях с таткой твоим через заулок живет. И неуж не припомнишь, а? Во я, глянь, ну?..

– Да вроде что-то... – засмутился Степка, искоса взглядом спросил совета у дружка, но тот мял черемуховую палку в чугунных ладонях, словно бы взвешивал ее. – Калина Богошков, да неуж? – решился вдруг и возопил во весь голос, сразу прихватил мужика и стал тискать, словно пробуя на силу и крепость в ногах, а Калина напрягся, когда обнимались и целовались троекратно, но и особо не неволил тело, чтобы не выдать тревогу и страх.

– А я было и не признал. Ой, кабы да осечку?

– Да и неуж не признал бы?

– Всякое бывает, – Рочев натянуто засмеялся было, но тут же оборвал нехороший смех и снова оглянулся, но дружок все так же темнел за плечом, похожий на придорожный камень.

– Отцу-то-матери што сказать, иль сам явишься?

– Сбег я из матроз, – просто признался Степка, не пряча черных зырянских глаз, на дне которых жил постоянный больной испуг. – На Печору деваюсь. Ищи меня там. На Печору, как в воду. Только ты мотри, ни-ни!..

– Да Бог с тобой. Уж как на дыбе припрут, дак.

– Если что, достану. Иль нет?

– Достанешь, почто нет-то. Ты парень лихой.

– Ну то-то, – добавил Степка, губы по-детски распустил, широкие, неприбранные, – казалось, заплачет парень. – А мамке ни-ни...

И они пошли поженкой в лес: коренастый все оглядывался через плечо, сердито выговаривал Степке, тот крутил головой, наверное не соглашался, и в редком сквозном осиннике еще долго виделись алые портки.

Четыре дня бежал Калина торопливо, теперь уже просясь на ночлег. В Совпольской деревне у Анкиндина Фролова купил старенький стружок за рубль и сплыл на нем по Кулою до своей деревни. Последние две ночи не спал, пальцы от весел не согнуть, но эта работа привычная, – одному да по воде спускаться. Но как выходил из лодки, невольно присел, в левой ноге отдала застарелая рана. Отсиделся на камне, сапоги травяным клочком обмахнул, натянул не спеша; порты понапустил на голенища, чтобы пофасонистее было, все это делал с ленцой, а хотелось бежать в избу. До тоски все выгорело внутри: а ну как плохо отрожала, а может, и покойница уже моя желтоволосая Тинка? Тьфу-тьфу, свят, что ведь поблазнит. Показалось, будто жена с угора сторожко спускается. Да нет, то чужая баба.

Пестерек из лодки выудил, на одно плечо закинул и поднялся в гору. Кровавый камень-арешник скакал из-под пятки и долго колесил, тихо плескаясь в воду. Однажды оскользнулся Калина, аж душа оборвалась, потом словно очнулся, устыдился, побежал вверх, как сердце позволяло да больная нога; лужком порыжелым, мимо баньки, по заулку, скорее-скорее, вот и поветные ворота, заложку нетерпеливо крутнул, сорвалось из руки гулкое кольцо. Ворота будто сами распахнулись, а на пороге – Тинка: не сразу и признал, словно бы чужая баба. Волосы тусклым пламенем отдают, лицо тугое, румяна на щеках, брови подсурмлены, морщины на длинном лбу посеклись, и у тонких губ – паутинки. А как глянула – под желтыми ресницами ее глаза, Тинкины, весенней воды глаза – Господи, какие желанные.

Через порог не здороваются, да и с улицы видно, зазорно миловаться. Обошел Тинку стороной, только ладонью по спине скользнул, ощутил тепло бабье сквозь льняной стан. А жена следом, не навязывается, смотрит сквозь слезы на Калину, и мысли-то все самые худые: не разлюбил ли? Калина к зыбке сразу шагнул, нагнулся, всмотрелся в окутки, а уж смеркалось и плохо виделось в глубине берестяного коробка чадое родное.

– Сын, давножданый сын наш. Ос-по-ди-и, – притулилась Тинка к мужу сначала робко – родной весь, потом пропах, дорогой, кострищем, – руку запустила в отросший спутанный волос. – Кого велел, того и родила. Вылитый тятка.

Что-то стронулось внутри у Калины от хриплого шепота. Слишком долго желал он Тинку и потому неловко себя вел. Обернулся, будто насильно обнял жену, а Тинка хитро топырила ладони, и Калина от этой игры хмелел все больше.

– Да погоди ты. До вечера-то погоди. Что люди добрые скажут, – упиралась, а самой уж неумоготу.

Не послушал, в горницу жонку унес, от нее молоком пахло. Лежали в кровати, Тинкина голова на плече, в сумраке совсем прежняя. Тинка что-то наговаривала счастливо, а Калине слушалось плохо, все еще радость переживал, гладил жену по прохладному плечу.

– Мне, как Доню-то принести, сон привиделся, будто медведь тебя на спине тащит. Я плачу, следом бегу, ревмя реву, да бегу. Отпусти, молю, смилуйся. А утром и ослобонилась, – шептала успокоенно, а после и уснула неслышно, боком привалилась к Калине, и от нее доносило ровным духовитым теплом. За ночь в горнице выстыло, в ставни сорило мелким занудливым дождиком, крыша невольге и набухла, а из желоба в бадейку мягко пролилась первая потока.

Лишь под утро Калину взял сон.

Глава вторая

Однажды в избу к девке Павле Шумовой в дневное время пришла по дружеству Матрена Бабикова и, будто шутя, говорила, что братан Степка Рочев с Архангельского пришел, с матрозов бежал, уж трое ден во хлеве живет, норовит на Печору иль куда еще уйти, да попутья нет. «Это ж надо такое?» – дивилась Павла, губы в оборочку поджимала, таращила под неровными русыми бровками грустноватые глаза. Засиделась Павла в девках, а теперь и сама себя старила, носила рубаху серую из грубой холстины, черный сарафан с синими бейками по подолу, да и повадки-то все старушечьи приняла.

– Андели, как же он решился? Они на Няфте все ухари.

– Ты оприютъ его на пару ден, – просила Матрена. – У тебя изба с краю деревни, никто к тебе не ходит, а у нас, почитай, каждый час гости, самовар-то со стола не сываем, все кто-то живет, будто постоянный двор. Леший надавал эту родню.

– А удобно ли мне, Матренушка? – Павла не знала, как отказать подруге, да и не особо верила ее словам. – Я же в девушках хожу, и отец старой с печи не слезат. Да мне и страшновато. А вдруг, если что?

– Да ты что, Пашка, ково боишься? У нас Степанко смиренной. Спрашивала, зачем, говорю, побежал? Неужель нетерпеж взял? А не знаю, говорит, зачем и побежал, вот сейчас бы и повинился. Вон он какой, – улещала Павлу Ма грена, но девка мялась, ответа определенного не сказала, да с тем и забылся разговор.

А утром запотемно пошла во хлев коров обряжать, лучина в зубах трещит, а в руках-то бадейка молочная да лохань с паревом. Только наземные опорки насунула на ноги, дверцу отворила, а впрямь перед нею мужик иль парень какой стоит, сразу и не признала. А как раз в самое Рождество было, тут всякая чертовщина привидится. Вон наемни у Нюрки Окуловой леший в поветные ворота так ногою стеганул, что копыто отпечаталось, всей деревней ходили смотреть. Эко чудо – дивились.

– Сгинь, нечистый, – а откреститься нечем, руки заняты.

– Да это я, Степка Рочев, – несмело сказал парень.

– Поди-поди, откуль взялся, – пугливо отпрянула Павла.

– Да куда я денусь, беглый матроз я...

– Поди, откуда пришел. Мне корову обряжать надо, – чуть остывая и слушая сумеречный Степкин голос, еще гнала Павла, а сама уж думала втайне: и действительно, куда же он девается, на улице скоро светать начнет, увидят еще да хватятся, разговоры пойдут, откуда

парень взялся, да чей он, да почему от Павлы под утро ушел. Смеяться будут, вот, скажут, Пашка – хваленка⁵, сколь ни бесстыдна, замуж не берут, не сватают, так блудом свое возьмет.

Как подумала о том Павла, покраснела вся, да и лучина, видно, догорела, ресницы опалило, выпустила ее из зубов, и сразу непроглядные сумерки родились.

– Ушел бы ты, Степка, – уже тише и как-то несмело попросила Павла, прислушиваясь к темноте. – Девушка я, незамужняя.

– Ты не бойся, эка ты бояка, – уже смелее заговорил Степка, поймав в голосе Павлы слабинку. – Я ведь не тать какой, не разбойный человек. Через двое ден уйду и как в воду.

Павла запалила лучину, обошла Степку стороной, корову подоила, навоз выкидала, в овечник не пошла, выскользнула из хлева и дверцы на щеколду заперла. В избе лучину в светец воткнула, крикнула отцу на печь за розовую занавеску:

– Эй, тата, не спишь, чай? – хотела объявить о беглом, но споткнулась.

– Чего тебе? – откликнулся Захарий Шумов, обратя к дочери высохшее в круглой седатой бороде лицо. Глаза далеко провалились в синие ямы и при свете лучины глядели бельмасто и тускло. Уж совсем плох был отец, и руки его мелко тряслись, когда он запахивал воротник косоворотки.

– Сдеелось што, доченька? – снова спросил Захарий, старой душой расслышав непонятную беду.

Дочь самовар не наставляет, чаем не поит, в печи не шурудит деревянной лопатой и заслонку не просит прикрыть, – небось печь уж выстоялась, в самую пору хлеба садить, – а огрузла на лавке под образами. А Павла мучилась, хотелось бы ей от беды нежданной разом отделаться, прочь выгнать незваного гостя, а сотворить это – непонятный стыд долит и жалость, а больше всего – стыд. Вот как отцу проскажешь, сразу дознание начнет, что да как, да от куда, не согрешила ли, да чей парень, характером терпим ли?

– Печь-то застудила, слышь, Павла? Чего на лавке-то расшеперилась, как мокра ворона. – Отец тяжело откинулся на изголовье, кряхтя и вздыхая.

– Лежи давай, не мала девка.

– Ну ты, цыц, – приподнялся на локте, прислушался широким створчатым ухом, принагнул свой розово-белый лопух к притвору двери. Не пришел кто? Вроде бы дворовые ворота сгремели.

Павла промолчала. Лопатой забрасывала в печь хлеба, катила их по каленому поду и думала про Степку: «Леший, не может спокойно-то сидеть. А может, старосте повиниться?»

– Слышь, татушка, я еще даве тебе хотела... Мотря Бабикова Степку Рочева привела, просила два дня подержать, – сказала Павла и напряглась, ожидая, как-то отец велит.

– А я ведь чую, што чужой кто, – довольно откликнулся Захарий. – Дак и зови, раз к чаю угодил. – И, кряхтя, пробовал поднять непослушное тело. – У бедности – не у греха. Кому-то зло, а нам – гость. Пособи, чего уставишься.

Павла почти сняла отца с печи, и тот, опираясь о лавку, прошел в передний угол, сел, широко расставив костлявые ноги.

– Ну зови, двери-то все начисто выпрет.

Степка Рочев пришел, низко склонился в поясном поклоне, долго крестился, выудив из-под совика⁶ нательный образок. Лучина трещала, неровное тусклое пламя выхватывало сумрачные углы, земляной пол, закопченную матицу, два сундука в простенках и широкую просиженную лавку. Небогато жили; утренний и без того слабый свет не пробивался в волоковые оконца, забитые соломенными матами.

– Ты чей, сынок? – всматриваясь в Степку, спросил Захарий.

⁵ Хваленка – девушка на выданье.

⁶ Совик – верхняя одежда из оленьих шкур.

– Анкиндина Рочева, из Няфты.

– Ухарь был мужик, уж сколько раз из-за баб колотили. Кровью похаркат и встанет, – сразу завспоминал старик, все шевеля моховыми бровями. – Давно бегашь? – спросил неожиданно. – Ты только не ври, а то поди обратно на улку.

– А на Ильин день побежали...

– Недалеко ушел... А ты не слушай, не мужско то дело, – прикрикнул на Павлу, – собирай на стол. Хлеб-то, поди, сгорел, глуха тетеря, еще замуж собралась... Недалеко ушел. Чево не служилось?

– А, да так, – махнул рукой Степка, еще не решаясь скинуть обмерзший совик и заледелые тобоки⁷; ведь всю ночь провел в ближних зародах и только под утро забрался к Шумовым во двор.

– Чево не служилось? – настырно переспросил старик.

А Степку разморило в тепле, ему страшно не хотелось уходить из пахнущих жильем сумерек. Павла выкатывала из печи хлеба, тыпала их ладонью, покрывала рушниками, досадовала на себя.

– Меньше надо было дверьми ходить, а то взад-вперед так и чешет... Как жать-то будешь? Поймают, батоков надавают, в кандалы ноги вденут, в Сибирь загремишь. Эх, соколик. Дак чево не служилось? Один хрен ведь, где жить? Там, в матрозах, дарово кормят, – не отступался Захарий, перекидываясь с дочери на гостя.

– А стоскнулось что-то, так домой потянуло. Вот до Няфты добегу и объявлюсь.

– Греха-то не натворил? Вы ведь с Няфты все с ножиками ходите.

– Не-не, батя...

– Тогда скидывай одежду, чай пить будем, поедем чего Бог послал.

Ели все молча, Степка жадился, торопился, отрывая еще от горячего каравая большие тяпухи и макая в кислую рыбу. Он раскраснелся, по щекам пошли крутые некрасивые пятна, давно не мытые руки заскорузли, пальцы потрескались на сгибах, соленая подлива разъедала кожу, и Степке, наверное, было больно. Павла неотрывно смотрела на парня, на худое большеглазое лицо, обросшее мелкой кудрявой шерстью, и было ей жалко его неистраченной материнской жалостью; подумалось, что надо бы затопить баньку, но опять же могут увидеть, лучше нагреть воды да в избе помыть Степку. Девка сидела у краешка стола и каждую минуту снималась то за тем, то за другим, а сама все прислушивалась к заулку, морща и без того старовидное лицо, сутуля широкие мужские плечи.

Потом дала Степке старый домашний совик да катанцы с высокими голяшками, выпроводила обратно в хлев, в угол, где было наметано сено, показала, как хорониться на случай беды. Степка сказал, что будет шить из купленной пестряди рубаху, попросил скроить и принести еще иголку и ниток. Павле смешно показалось, как это в потемни мужик будет себе рубаху шить, но вслух не усомнилась, сделала все, как просил, только упредила, чтобы огня ненароком не заронил, сено летошнее, палючее, ему искорки малой довольно, а сама побежала в деревню послушать, что люди бают.

А в лавке бабы говорили страшное...

Глава третья

Самоядский канинский пастух Матвей Лытуев показал выборному старосте Мартемьяну Петухину, что приехал он, Лытуев, по прежнему знакомству в избу ко вдове Парасковье Ханзиной, которая имеет жительство в тайбольской избе в двадцати верстах от Дорогой Горы по реке Кумже. Он зашел в дом и увидел беду. Баба лежит

⁷ Тобоки – зимняя обувь из оленьих камусов (шкура с ног).

на полу мертвая, заколота, чего он испугался и ушел вон. Приехав в деревню, он объявил выборному старосте о том, и Мартемьян Петухин приехал в тот дом и увидел, что хозяйка Парасковья Ханзина лежит на полу мертвой, а дочь ее в овечнике заколота, клеть и коровья переломаны; померло с голоду пять коров, три теленка, тридцать пять овец, имущество пограблено, а что – неизвестно, преступника отыскать не могли, и пастуха Лытуева тоже взять не могли, ходит около чума с ружьем и топором, почему и не приступились к нему...

Из судебного дознания

Спал Степка Рочев в избе. Еще вечером попросил Павлу спрятать сверток, но девка отказывалась, сомневалась вслух, не краденое ли, а Степка клялся, что покупное все, и схоронить надо до той поры, когда объявятся властям, а его помилуют, и он вернется и заберет все. Павла верила и не верила, но что-то мешало ей отказать парню, уж больно в потемках страшно ей было девичьим греховным страхом, и в голове-то у нее кружилось, и ноги шалили, слабли. Казалось, прожигал ее беспокойными глазами Степка Рочев. А он все шептал из темноты: «Не тать я, не убивец, не бойсь ты меня, Павлуша». Так сладко говорил, словно обещал что. И не отказала девка, взяла тяжелый сверток, но в избе не утерпела, отпорола с краю, высмотрела, лежали там платки женские да рубахи всякие; пугливо зашила заново и на улице под кряжи еловые положила и снегом прикрыла.

А сейчас лежала на лавке под ставенками, спать боялась, задирала голову в темноте, когда трепыхали куры в запечье иль с глухим плеском скатывались с крыши снежные навеси. Ведь знала она, что снег свалился, а чудилось Бог знает что. И так маялась до первых петушиных побудок, встала с белым неживым лицом, словно за ночь на пять лет постарела.

А днем страхи рассеялись, уже опять любопытно думалось о Степке, когда бегала по Дорогой Горе то за солью будто, то за свежей опарой, а сама все слушала чего-то иль на что-то решалась. Вечером все ворота полонила запорами, печь на второй раз протопила, воды нагрела, бочку залила, сверху тряпьем всяким накрыла, чтобы не выстыла, золу из печи вымела, соломы свежей настелила, приказала Степке лезть в чело. Степка мялся, ожидал, когда Павла выйдет куда или на худой конец отвернется, в избе жар стоял, и тело еще больше зудело. Захарий Шумов лежал на печи, любопытно подперев локтем дрожащую голову, и молчал, – может, думал о молодости своей иль жалел, что сыновей Бог прибрал. А Павла вдруг потянула Степку за рукав рубахи и ровно сказала:

– Снимай порты-то, застираю, пока паришься. От грязи-то все забукосело.

– Да отвернись ты, – не вытерпел Степка. – Что я тебе, чурка с глазами?

И Павла опомнилась, покраснела густо, ушла в запечье, а парень скинул порты, полез на шесток, больно стучаясь коленями о кирпичи. Обжигая плечи, втиснулся в самый жар на запрелую солому, холод пошел кожей, и поначалу показалось, словно бы выставили голым на мороз.

Павла подала веник, и Степка, сколько душа терпела, похвастался, но тесно было в печи, не размахаясь, и от жару дышать нечем. Вылез бурый с подтеками сажи, потом долго в бочке сидел, булькаясь в воде, крутился, будто на ровном месте дыру вертел, усталъ ушла, и все пережитое вместе с нею: чертовски хорошо было сейчас Степке Рочеву, а о будущем он не умел думать.

Павла в шайке стирала его порты; она круто выгибала широкую спину, тесный сарафан, казалось, лопался на бедрах, и Степке, отдохнувшему и разомлевшему, вдруг нестерпимо захотелось любви. Играя, он плеснул в девку водой, она обернулась, локтем утирая вспотевший лоб, вся помолодевшая, словно сбросила от двадцати восьми годков на всю десятку. От жара щеки подсохли, куцые бровки потемнели и глаза округлились, светились влажно и ласково. Может, представилось Павле, что у нее семья, муж и все хорошо у нее.

– Ну-ну, не балуй, – прикрикнула девка совсем домашне, бегло оглядывая плоскую широкую грудь парня и костлявые прямые плечи. Распаренный Степка выглядел совсем молодым парнишечкой, кудерьки намокли и приклеились ко лбу, но глаза по-мужичьи жадно горели.

– Спинку бы нито помыла. Ну, как брату родному...

– Обойдессе, – Павла насупила брови, торопливо отвернувшись, суровая и поникая плечами: поняла, не для нее Степка.

– Хоть бы украл кто ее у меня, – вдруг сказал Захарий Шумов. – Девка-то золото, порато работяща, у нее и мати такова же была.

– Будто вам со мной плохо, татушка, што вы меня гоните, – тусклым голосом откликнулась Павла. И когда подбиралась в избе да вечернюю выть⁸ собирала на стол, на Степку Рочева больше не глянула, словно парня не было тут. А он, будто ненароком, то ладонь у девки придавит к столешне, то тайно ущипнет за тугой бок, а глаза нахальные – лыбятся Степка и зубы желтые скалит.

Повечеряли, потом и на боковую. Павла лучину задула торопливо, изба погрузилась в потемки, круги радужные заходили перед глазами; сразу где-то в дальнем углу под порогом заскоркала мышь, огрызая у двери соломенную обвязку, туго задул в стены ветер-снеговой и, на всю ночь завывая, уюстился в дымовой трубе. Отец гряхтел на печи, гремел старыми костями, и Павла тоже долго не могла найти себе места, и только подозрительно тихо было подле печи, где лежал Степка.

Поплакать хотелось Павле, повыть, тоска темная навалилась: вот и татушка скоро помрет, и одной ей тогда куковать. «Хоть бы робеночка Господь послал», – неожиданно подумала и представила сразу, как сосет он титьку, и грудь от таких мыслей щекотно потянуло, и стало Павле истомно. «Грех ведь. Каково сколотного-то⁹ принести, на деревни обкостят. И кой леший этого вахлака к нам привел? Дрыхнет, будто у себя в доме. Носом-то нахаживает, спокой-дорогой».

Резко и шумно повернулась на правый бок, голову подняла, призрачно и лазорево светит лампада под Спасителем Нерукотворным и скорбно, так понятиливо, всматриваются в Павлу птичьи глаза его. «О Боже...» – заплакала неожиданно, сменяя рыдания в себе, кусала пахнущее оленным волосом изголовье, а ветер пробивался сквозь соломенные маты, по избе тянуло сквозняком, и пламя лампы натужно гнулось к дверям.

– Павла, испить дай водицы, – неожиданно прошелестел Степкин голос.

Павла испуганно прынула, села на лавке, поджимая босые ноги, напряженно и затаенно прислушалась к темноте.

– Ты слышь, Павла, водицы бы испить, – сонно повторил Степка.

– Лежи давай, приспичило, – буркнула себе под нос, пробежала по холодному полу, стягивая рубаху под грудью, еще почему-то мгновенно подумала: «Ну вот и все...» В потемках долго шарила рукой, больно натыкаясь пальцами о косяк, не могла поймать с деревянной спицы ковш. Вода в кадке засалилась льдом и тонко хрупнула, прогнувшись под черпачком. – Не барин, руки на месте, мог бы и сам, – все боршала девка.

Она напрягала глаза, чтобы не расшибиться, потом неожиданно наступила на Степкины ноги, и он притворно ойкнул. Протянула ковш. Рука парня оказалась совсем рядом, быстро скользнула по ее локтю и словно бы ожгла кожу. Павла торопливо отпрыгнула, привыкая к темноте, выпрямилась, ее охватила мелкая дрожь, и, ту же натягивая под грудью рубаху, покорно подумала: «Ну вот и все». Она ждала Степку и невольно слышала, как бились его

⁸ Выть – еда.

⁹ Сколотный – незаконнорожденный.

зубы о медную кромку черпака: Рочев пил воду гулко, как лошадь, и студеная вода свободно катилась по его луженой глотке.

– Прими ковш-от, – сдавленно шепнул Степка.

Павла принагнулась навстречу голосу, чтобы поймать черпак, и тут же ойкнула, полетела в темь, в жаркие, густо пахнувшие потом одевальницы¹⁰. Парень охватил Павлу жилистой рукой, молча притиснул в постели, задирая рубаху на голову. Павле было душно и больно, судорога томила спину, под жадными Степкиными ладонями болели груди, но девка покорно отдавалась, ожидая и настраиваясь на что-то. А Степка насытился, отвалился от Павлы и сразу покойно захрапел, чему-то рассмеявшись. А девка оправила рубаху, вытянулась близ Степки будто покойница. Ощущая тепло его тела, недолго полежала, еще ожидая чего-то, потом перешла к себе на лавку. Сухо было во рту, тянуло в животе, но голова была светлой и совсем не хотелось спать.

«И неужели это любовь? – подумала Павла, вглядываясь в зеленое пятно лампадки. – А девки-то с ума сходят. Кака тут любовь, больно, и все. Чуть не разорвал, идол». Она еще любопытно прислушалась к темноте. Парень спал, закручивая носом свисты. «Едва не убил, охальник», – подумала, не сводя взгляда с тусклого света лампадки, потом неожиданно приподнялась, ей показалось вдруг, что душу у нее вынули, так стало пусто и горько внутри. Пала на лавку и завывала тонко, по-щенячьи, захлебываясь слезами, оплакивая прежнюю Павлу: последнее, чего так долго и постоянно желала, сбылось неожиданно и непонятно; и уже на исходе ночи не знала она, было ли чего, или так, почудилось только в стародевьем сне.

Утром поднялись все затемно. Степка сряжался не спеша, будто на свиданку, порой любопытно заглядывал Павле в глаза.

– Пойду и объявлюсь. Посекут и помилуют. Не тать я какой, – кряхтел у порога, натягивая новые просохшие тобоки из оленьих камусов, пестрядинную, расшитую по вороту рубаху, суконный совик. Повязался шерстяным кушаком, помахал руками, пробуя, ловко ли сидит на нем одежда.

– Объявись, сынок, повинись, – укреплял Степкину веру Захарий Шумов. – Чего бегать-то, много не выбегашь. Ныне кругом люди, а без пачпорта – как без имени людского. А Павлуша ждать будет, – добавил старик многозначительно.

Степка крякнул и промолчал, только сказал еще, со скрипом отворяя разбухшую дверь:

– Низкое вам спасибо, незабывное.

– Пустое это, по-Божески, – остановил Захарий. – Мне живота своего не жаль, в могиле одной ногой, а Павле-то еще жить. Дак уж ты молчи, когда пытаться учнут.

– На дыбе не выманят. Я на добро честный.

– Павлу-то пожалей, не чужая она тебе ныне...

– Нашел родню. Ему родня – черт да сатана, – фыркнула Павла. Из-под низко надвинутого плата глаза глядели колюче. – Давай, затворяй двери, холод-то напускаешь. Не на улице ведь. – Вытолкнула Степку, провела темными сенями во двор, через маленькую дверцу выпустила на зады и сама вышла, боязливо осматриваясь, не узрел ли их кто. Степка мялся, переступывал ногами, решался что-то сказать, протянул руку к Павле, видно хотел обнять, но девка отстранилась пугливо.

– Поди, чего мнешься, – оттолкнула повисшую руку, отшатнулась к стене, в черную тень.

Степка промолчал и, проваливаясь по колена в снег, пошел на угор, чтобы оттуда, будто с реки, войти в деревню, к избе старосты. Он шел сутулясь, высоко задирая ноги и нелепо размахивая руками, раза два еще оглянулся, отыскивая глазами Павлу, но девка не шелохну-

¹⁰ Одевальница (одеяльница) – меховое одеяло.

лась. Она еще постояла немного, послушала шорохи: снег подавался под Степкиным телом, где-то проехали розвальни, скрипя полозьями на дорожных раскатах; засветились тускло дальние избы, запахло дымом, а сверху, из зеленого лунного неба, хлопьями сваливался снег. Он таял на Павлином лице, и было непонятно, то ли снежная мокрядь щекочет губы, то ли неслышные слезы.

Девка очнулась, зябко поежилась, заторопилась повестью домой, утирая лицо платком.

– Всю-то ноченьку глаз не затворил. Уж так ноги стянуло, места себе не мог найти, – зажалобился отец.

Павла упала перед ним на колени, уткнулась лицом в порты, чувствуя себя маленькой и одинокой.

– Ну, ну, Господь с тобой. Беда забывчива, а тело заплывчиво. Вот и ты тепере все знашь, – гладил Захарий поникшую дочернюю голову. – Свой век жить как ли нать.

– Татушка, прости, черт поманул. Прости меня, татушка, грех-то какой. Осподи...

– Господь простит, Павла. Чего сама себя виноватишь? Куда денешься, раз не крадут тебя.

– Батя, прости...

– Дикой парень. Не мог девку с толком взять. А я-то молчал, кашлюн старый. Все думал, даст Бог – слюбитесь. Пашка сына принесет, и помирать мне будет отраднo. Ведь восьмеро вас было... Осталась ты одна, Павлуха, да и та – на мужика кроена.

Глава четвертая

Где-то на исходе февраля на самого Прокопа-дорогорушителя в избу Петры Чикина пришел выборный староста Мартемьян Петухин и велел свезти в Мезень «беглого матроза Степку Рочева».

– Дорога-то больно худа. Снегу, как из прорвы, и кони у меня на ужищах висят, стоять не могут, – пробовал выкрутиться Петра. – Малы они, малее собачки будут. Ты бы до Калины Богошкова сходил, Мартемьян, у того карюха куда бойчей.

– Сряжайся да ко мне заедь, заберешь матроза. Может, кого спопутья дать? Тут баба Комаришна слезно молит.

– Никого, никого, ты че? – взволновался Петра, поняв, что дальше бесполезно вольтанить. Сразу помрачнел, закинул под лавку катанки, закричал за ситцевый занавес, где баба его ткала половик: – Гутька, собери подорожников до завтрава... Ну еду, еду, чего ишо? Чуть да как, отвези сразу. Готовы на плечи вызнаться да понюгать. Где девки-ти, хоть бы сена вороному кинули...

Собирался тяжело, пыхал натужно грудью, и кирпичный румянец пробился на щеках. Потом вывел из стойла толстоногого мохнатого конька с длинной волосатой мордой и широкой каменной грудью, долго обтирал попонкой сразу закуржавевший круп. Вороной недовольно косился, скалил длинные желтые зубы, и глаза его матово тускнели под длинными дымчатыми ресницами. Петра сунул в зубы коньку горбуху хлеба; таил ее до времени в глубокой походной рукавице, чтобы не замерзла. Вороной жадно вдохнул заиндевелыми мягкими ноздрями ситный запах, роняя слизкую мокроту, ловко подобрал краюху с ладони хозяина и криво усмехнулся, зная себе цену.

Неказистый был воронок, самых-то мезенских статей: с толстыми коленными бабками, вислым, не капризным до еды животом, и все же в Дорогой Горе не найти другого такого конька, который бы вывез тебя из любого бездорожья, когда только острые уши по-заячьи торчат из снега да посекшаяся грива струится по зыбучим сугробам. Вот почему прижаливал Петра Чикин своего бегунка, и упряжь у него была пригнана в самый чик: не жала и не елозила по рабочей спине, да и колоколец под дугой хоть и кимженского литья, но особый,

раскатистый, с хриповым настроем, и далеко слышен его медный звяк, чтобы встречный еще за поворотом знал Петру Чикина и воротил коня на сторону, давая дорогу.

Остывая, привыкая к мысли, что ехать придется, Петра развернул сани, кинулся в них боком, и казалось, что в злых душах сейчас ухнет сычом, промчится по Дорогой Горе, будя улицу особым чикинским колокольцем, да вытянет лошаденку по крупу витой кожаной плетью, чтобы розвальни подпрыгнули на ухабе и потом летели воздухом до другого сумёта.

Но Петра едва ворохнул левой вожжой, направляя путь, и до самой избы не поторопил коня.

Подводу уже заждались, староста торчал у своей избы, матюкался, ему хотелось поскорее сбить беглого с рук, а Степка Рочев обвалился к изгороди и сонно озирался вокруг, словно бы соображал, а не бежать ли ему дальше своим путем. Тут-то из-за угла и вывалилась лошадь.

– Как на свадьбу сряжаеессе. Умереть можно, – закричал навстречу староста. – А ты мне не балуй. В дороге-то, – уже в который раз упредил беглого.

– Поздно мне теперь баловать, – покорно сказал Рочев, а зырянские темные глаза блеснули охально. И только Петра не взглянул на Степку, не дождался, когда удобнее сядет парень, а тут же понюгнул конька, и тот побежал ровной развалистой рысью, в отвислом его животе забулькало и заворчало. Долго ехали молча, холод пробирался под совик, и Степка свернулся в задке розвальней, хороня тепло.

– Чего дальше-то не бегал? – нарушил молчание Петра, вглядываясь в Степкино посилившееся лицо и словно бы жалея парня. «Ухорез и глаза разбойные. Так и ест», – подумал тайно, и под ложечкой у него засосало. – Бежал бы нито куда. Эвон места-то, – добавил уже потише, смягчая голос, и край оленьей полости неловко набросил на Степкины ноги.

– Надоело, набегался уже.

– А-а-а...

И опять надолго замолчали, не увязав разговора, да и солнце задымилось, поблекло: мороз обжигал губы и вязал щеки. У Степки отерпли ноги, холод пробрался в меховые тобоки и сковал пальцы. И только лошадиный круп, весь белый от инея, ровно и неспешно колыхался перед глазами.

– Понюгни лошадь-то. Живьем не довезешь, голову снимут, на кол посадят. Вон задница-то сколь широка, удобна для кола, – раздраженно выкрикнул Степка.

– Это ты спину для батогов готовь. Разрисуют, мастера есть в расправы, – обрадовался разговору Петра. Он тоже устал молча наблюдать лошадиные вихлястые ноги. – Есть мастера-то, рука наторела, два раз в одно место не ударят.

– Но-но, – грозно окликнул Степка, становясь на колени.

– Чего разнокался? Лошади не казенны, – обернулся Петра, удобнее забирая в руке витую плетть со свинцовой головкой. – Чего разнокался?..

– Прошибат мороз-от, – неожиданно пошел на попятную Степка и спрятал от мужика темный взгляд.

– Прошибат тебе. Не нать было бегать. Кой леший понес на зиму глядя? По девке соскучился, бывает?

– По ей, стерве, ночами во снах стала ходить. Замутила душу, – готовно согласился Степка и вдруг вспомнил Павлу, покорную, тяжело пыхающую грудью, безмолвную, похожую на мужика. Что-то виноватое колыхнулось у парня в душе, и хотелось эту вину чем-то загладить, может, хорошими словами. – Ядрена баба-то, кобылой не свернуть. Вот и стала чудиться. Все как по жизни. И милуемся мы с нею, и ласкаемся всамделишно. А проснусь, только душа тоскнет. И побежал сослепу, прости ты меня, осподи.

– Креститься нать, коли чудится. Это черт поманывал, – посоветовал Петра и сразу обмяк, распустил губы. – Ну и как она-то? Добег дак...

– А не успел добечь, как все повернулось. – Степка недоговорил, внимательно вгляделся обочь, где проезжала встречная подвода. Вся в куржаке, усталая кобыла тяжело преступалась в снег, тянула розвальни, в них напряженно стоял на коленях мужик, белый от инея. Он только мельком глянул и молча проехал мимо, торопливо потряхивая вожжами. А Петра тоже встал на колени и еще долго смотрел в спину проехавшего мужика и матерился мерзлыми губами.

– Ты чего костишь-то, родня, че ли? Только родню да заклятого врага так величают, – усмехнулся Степка, снова прячась в совик, куда уже заполз холод.

– Да землю-то Калина-варнак отсудил, изо рта прямо выдернул.

– Твою, что ли? – спросил Степка, пряча глаза. – Ну и ловок, а тихоня с виду.

– Егова пашня, родительска. Мою, ишь ты, мою. Чтобы мою кто взял, да я... И не нужна ведь, варнаку, земля-то, почитай, с моря, варнак, не вылезает. Так же заростит, погубит земельку. А я бы – ой, таких бы лошадок держал. Люблю лошадок, как побегут, а грива пламенем так и возьмется, каждая жилка в теле гудом гудит, глазища горят, хвост по ветру пластается, а подковки только – ток-ток, уй-у. Они ведь, наши мезехи, обличьем пузаты, да росточком не больше зайца и шерстью по-собачьи обросли, а как пойдут скакать в морозину, бездорожьем, тут ни одна лошадка рядом не потянет. Не-е. – И Петра приподнялся на колена, наверное, пофорсить захотел перед Степкой, показать свою природу, даже трех сбил на одно ухо и плетью крутанул; вжикнула в воздухе свинцовая пулька, вшитая в крученый ремень, но не коснулась седого лошадиного крупа.

Повалился Петра, осел на один бок, зарываясь поглубже в полость, и тусклым голосом досказал:

– Не, не могу зазря скотину гонять. Не примет душа, и все.

– Ну, ловок Калина. Мужик-то вроде незавидный. С Архангельского-то вместих бежали, дак ничего не сказывал. С чего бы полагалось, – тихо сказал Степка и отвернулся от Петры, словно всматривался в застылый лес и в глубокие следы от полозьев, убегающие прочь: «Шу-шиу, вжи-вжи», – ширкали розвальни о крупитчатый снег, тихо покачивало на крутых переметах, клонило в дрему.

– Да неуж? – равнодушно-скованно откликнулся Петра, о чем-то своем соображая, и больше ничего не спросил, стал усаживаться поудобнее, кряхтя и подбирая под себя подол совика. – Палит морозина, круто берет. Февраль – бокогрей, вот те и нагрет боки. Голоден, не? – окликнул Степку.

– Кабы душу промочить...

– Приворачивать не велено. Мне и не с руки с тобой валандаться. Развяжемся поскорей, а там сами по себе. – Петра остановил конька, кинул охапку сена, губы вороного обросли молодым ледком.

Степка ел лениво, все озирался на лес, откусил от житного колоба, долго жевал и едва проглотнул, спеклось в горле.

– Казенны-то харчи небось скусней? – насмешливо окликнул Петра, напряженно вглядываясь в поблеклое Степкино лицо с пятнами чайного цвета на скулах.

– А это на чей кус. Кабы скусней, дак не побег бы.

– Жил-то чем, воровал небось?

– Было всяко. Мы тут в анбаре полевом дивно взяли.

– Да неуж? А с кем упромышляли? – спросил Петра, замирая от догадки. «О Бог мой, Иисусе пресветлой, он варнак, не иначе».

– Любопытной Варваре нос оторвали...

– Бабу-то Ханзину с девкой не вы, случаем?

– Но-но, дядя, я не тать какой, не душегубец! – закричал Степка Рочев, неожиданно прыгнул с розвальней, обогнул по снегу лошадь и кинулся дорогой, каменно ступая застыв-

шими тобоками. Петра поначалу растерялся, побежал следом, громоздкий и сырой: «Стой, варнак, стой!» Потом вернулся обратно, погнал лошадь, отчаянно матюгаясь и зависая над розвальнями с откинутой плетью.

– Застегну, собаку, – бормотал он, – как есть застегну.

Какое-то злое удовольствие настигло Петру, и он бы наотмашь захлестнул парня свинцовой пулькой по лицу, но за поворотом сразу не разглядел Степку. Тот стоял обочь дороги, затаившись за сосной, а когда розвальни поравнялись, выскочил, заорал заполошно:

– А, испужался, в порты напустил, – и довольно захохотал, оскалившись.

– Ну, дьявол, ну, сотона, погоди, – злился Петра, заворачивая коня. – Я те пошуткую сейчас, каторжна морда.

– Тронь-ко, пожалуюсь начальству, – весело издевался над мужиком Степка. Он успевал отскочить на зады розвальней и все кричал: – Батогов захотел, скотина? Я матроз, я у батюшки царя на службе, а ты мужик, скотина ты. – И вдруг упал на колени, стукнулся лбом о накатанный полозом след, о мерзлые кавалки навоза.

– Прости, грешного. Дурачина я, обормот.

Петра соскочил с кресел, замахнулся кнутовищем, казалось, что сейчас прибьет парня на месте, но Степка не шевельнулся, снизу выглядывая на мужика; покорно стерпел, когда тот небожно жигнул плетью по спине.

– То-то, я тебе ужо! – отмякая, грозил Петра. – Ну, паря, шальной ты. Не сносить тебе головы.

А Степка уже сидел в розвальнях, откинувшись по-барски, потом притворно завиноватился:

– Прости меня, Петра. Ты, я вижу, мужик куда с добром, веселой мужик.

Тут лошадь вывалилась на опушку, дальше дорога шла подугорьем, уже начинались пашни, и вдали хитро сверкнула куполом церковь Рождества Богородицы. До города оставалось с версту. Уже запотемнело, в густом небе расположились синие острова облаков, снег на реке посерел, и снежной пылью мела поносуха¹¹, разыгрываясь под вечер. Степка огляделся, и ему опять неожиданно взгрустнулось, подумалось странно, что последний раз он видит эти края. Он украдкой запустил руку в тобоки, нащупал там холщовый сверток. С деньгами расставаться было жаль, но и до мезенской расправы везти нельзя: отберут да еще и плетями распроят, откуда они. А Степка Рочев – не душегубец, не тать лесная, он человеческой крови не пускал, он парень веселый, верховой.

– Слышь, Петра, я с повинной объявлюсь, дак меня спустят? – спросил Степка Рочев, глядя в отсверкивающие в мрачном небе купола церквей.

Чикин пожал плечами и промолчал.

– Вот я и говорю, посекут да и спустят. Служи, скажут, матроз. А я прииду к тебе и спрошу: Петра, деньги вертай.

– Какие такие деньги? – изумился Чикин, ожидая нового подвоха. «Осподи, – подумал он, – скорее бы в расправу сдать».

– А я разве не отдал тебе на сохранение? На, говорю, Петра, деньги, ассигнациями пятьдесят рублей, да серебром сто восемьдесят, да медью три рубля, да один двугривенный, да еще три пятиалтынных. В тряпице холщовой завернуты, так и подал. А ты по простоте душевной не считамши их под задницу засунул, под оленную одевальницу, в самый передок розвален, – дурачил Петру парень.

– Не плети, Господь с тобой. Чего мелешь-то, каторжанец? – пугливо огрызнулся Петра, не зная на что и подумать, и поторопил лошадь. Молча проехали сторожевую рогатку

¹¹ Поносуха – низовой ветер.

и Спасскую деревянную церковь, миновали питейный дом да купецкий двор Артемия Малыгина и остановились у бревенчатой приземистой избы, обнесенной частоколом.

Нижней расправы судья капитан Шилов сидел потерянный; леший помутил вчера ум; в доме мезенского мещанина Федора Семенова он избил и обругал безо всякой на то причины городничего майора Петелина, и тот небось жалобу строчит в верхнюю расправу. «Ах ты стручок гороховый, березовый ты пенек, и кто велел тебе являться, коли не просили тебя, – судья сидел за ободранным столом хмурый, с отечным лицом и жевал пшеничный усище. – Нынче бабы по всей Мезени колокола льют. Ой, бес в ребро, набрался хуже свиньи», – клял он себя. Да и как тут не напиться изволите, ежели край света, темь непроглядная и дикость.

Тут дверь отпахнулась, в клубах мороза двое вошли: один под потолок, бурый от мороза, широкий, будто печь, пролезал в своем совике боком, второй – сухоребрый, с прямыми плечами и легкий на ногу, сразу по-птичьи обежал канцелярию и каменно во фрунт застыл.

– Ну, что у вас? – уставился судья посоловелыми глазами.

– Беглого матроза велено доставить с Дорогой Горы, – ответил Петра и на всякий случай поклонился.

– Это ты, что ли? – любопытно спросил капитан Шилов, забывая на время о вчерашнем.

– Как есть я, дурак, прости Господи, ваше высокоблагородие, – выгнул грудь Степка и прилепнул мороженными тобоками, сбивая пятки вместе.

– Ну шутник ты, братец.

– Так точно, сроду такой, и татушка такой был, и дедо двоюродный. Скоморохи-с...

– Ну, братец, бежали зачем? Иль корм плохой в адмиралтействе, а может, отцы-командиры неподобно себя вели-с?

– Никак нет... Батюшке нашему богоподобному служил не щадя живота. А лонись пришла с нарочным из деревни гумага со слезными просьбами от татушки и матушки. Пишут они мне через старосту, Степушка, приезжай навести, бывает, и померем скоро. В избе не топлено уж кой день и некому хлеба подать, воды поднести. И такая тоска меня окрутила, ваше высокоблагородие, так немочно исделалось, что и сам не знаю, как побежал прошлой осенью, и вот доньше и бегаю.

– Складно ты врешь, братец, – светло и холодно блеснул глазами судья, а добрые губы разбежались в доверчивой улыбке. – Врун ты, братец, и записной врун ко всему прочему-с.

– Никак нет, – горячо воскликнул Степка, ловя в голосе капитана слабинку. Он неожиданно в поклоне повалился на пол, темные волосы, беспорядочно и кудряво отросшие на свободе, осыпались на шею, на лицо, а ночные глаза омыло влагой и скорбью. – Не погубите, ваше высокоблагородие. Век молиться за вас стану. Бес попутал, жена у меня, дети малые, так стоскнулось. Мужик ведь, в соках самых, вдруг да что, все думается, бабы по ночам гоняются, мочи не стало...

– Ну-ну, братец, – смущенно отвернулся судья и тихо добавил: – Зачем опять врешь сказки. Мы ж пытали-с, откуда ты и чей, давно по тебе сыск объявлен и в кандалы велено тебя заковать и по этапу в Архангельск.

– Вру, и что с того? – насмешливо и готовно согласился Степка, поняв, что не отвертеться. Неловко поднялся с пола, – знать, мешал заколелый на морозе совик. – И что с того? Но сам объявился. Видит Бог, что не тать я, не убивец. Бывало, лежу в казарме, посреди ночи глаза отворю, вонища, хоть топор вешай; храп-от на все глотки, а мне лес вольный привидится, шумит он, манит. И задумал: побегаю и вернусь...

– Эй, Прошка, – кликнул судья высокого с круглой грудью драгуна. – Отведи беглого в арестантскую.

Степка весело подмигнул Петре и выпихнулся в дверь, а Петра еще топтался у порога, плотнее нахлобучивая треух. От волнения он взмок, и рубаха пристала к спине.

– Ну что еще? – безразлично спросил судья. – Он как-то сразу осунулся, мешки под глазами налились сыростью, и при мутном свете свечи он показался Петре совсем старым.

– У нас, значит, того... В Дорогой Горе мещанин Калинка Богошков есть, ваше высокоблагородие, – дрожащим голосом объявил Петра и споткнулся деревянным языком. – Ну, как бы это ловчее... До Пинеги-то он с матрозом Степкой Рочевым вместе бежал, да и амбар полевой брал. А разбойник возьми и проскажись. Вон оно как...

– Ну ладно, поди.

Петра еще что-то хотел добавить и забыл вдруг. Вышел отдуваясь: «Ну слава те, сбыл лиходея с рук». А на Мезени уже влажно темнело, к вечеру совсем от теплило, и снег скатывался из печально взвихренных облаков легкий и неслышный. Невесомый, совсем весенний ветер прошелся низом, омыл лицо, и Петре стало как-то не по себе, – может, от усталости или еще по другой какой причине. Захотелось выпить, ни о чем не думая посидеть в тепле и посудачить. И Петра завернул коня к божатке¹² Акуле Толстой, но в сани садиться не стал, шел рядом, тяжело ступая на волглый крупитчатый снег, чувствовал, как дорога проседает под ногами, а значит, конец февралю.

Петра завел коня во двор, поставил сани в дальний угол, часто поглядывая на мерцающие окна, на желтые проталины на сугробах. Из трубы слоисто и тяжело поднимался дым, пахло жильем. Он достал из розвальней одевальницу, оббил ее от трухи, слежавшееся сено забрал охапкой и кинул ворохом под морду коню. А как пошел в избу, нагнулся к саням за ремешком и что-то не нашел ее. Стал искать, встряхивать сено, заахал сразу, заматюгался, кость себя: знать, посеял в дороге иль разбойник этот куда закинул, и в самом передке неожиданно наткнулся на сверток, будто в холщовую тряпку хлебы завернуты. Еще по пустой мысли откинул его, а уж после подумал неладное, стал торопливо разворачивать холстину, и как услышал серебряный звон, так все и понял. Тяжело задышал Петра, не считая денег, завернул их обратно в тряпицу.

– Каково подстроил, каково, а? Куда хошь девайся, – сразу перетрусил, стал припоминать, как это случилось, ведь будто и от саней не отлучался. Вот дьявол, ну и разбойник, поехать и заявить, поехать и объявить, мол, так и так, иначе с этими деньгами греха не оберешь. Сколько же их, посчитать? Степка-то баял, дак много, поди, там. Баба Ханзина в бедности не жила.

И Петра, стараясь не шуметь, воровски покинул божаткин двор, погнал коня мезенской улицей к расправе, чтоб пасть на колени перед капитаном Шиловым, повиниться в незнакомом грехе; вроде мужик с понятием, зря в морду не тычет и окриком не берет. Но окна в расправе уже черны и пустынные, слюдяные закраины едва просвечивали за крутыми забоями¹³, – знать, судья ушел на отдых.

Еще недолго посидел Петра Чикин в розвальнях, оглядывая мезенскую расправу, и остыл от прежнего рвения.

– В Николы и заночую у кума. Восемь верст верхней дорогой, – вслух размышлял Петра, вроде бы забывая о свертке под задницей. – Знать, Божий промысел... чего уж. Нигде не бывал, никто не видал, а Бог наплатил... А и то... Допытай, возмись, на-ко выкуси.

И Петра с полоумной совсем головой повернул вороного к Дорогой Горе. На ночь глядя погнал коня к дому с одной лишь мыслью – как бы подальше деться от этих мест. В Николе к куму на ночлег не привернул, дорогой колоба стылого пожевал, да какая тут, к лешему, еда, и в самое утро заехал в свой заулоч. «Бог дал, Бог и оборонил», – успокоил себя Петра и, воровато озираясь, сунул сверток под мерзлые кавалки навоза да сверху еще коровьих жидких олабышей выкидал из хлева. «Поди возьми тут. Спаси мя и помилуй, Никола-заступник».

¹² Божатка – крестная мать.

¹³ Забой – сугроб.

А перед самой Евдокией случилось в Дорогой Горе такое, отчего разговоров было не убратъся. В начале марта навестили Калину Богошкова мезенский исправник Казаков, староста Петухин Мартемьян, он сродни будет Богошкову, да десятский Мясников, тоже с ихней деревни мужик. Провели они повальный сыск, переположили всех, в избе говори не вели, оценили мерина в подпалинах да корову красную, да корову нетель, да пятнадцать овчишек, да снасть рыбацкую и все прочее по цене девяносто три рубля пятьдесят копеек. И староста Петухин Мартемьян имение принял под присмотр и обязался хранить в целости и никуда не тратить до повеления нижнего земского суда. Тинка пластом лежала на полу, с нею плохо стало, когда Калину вывели из избы и посадили в сани-розвальни, где уже горестно сутулилась девка Павла Шумова.

А как съехали с деревенского угора, встретился о дорогу Петра Чикин в бараньем нагольном полушубке. Он оступился по колена в снег, когда розвальни раскатились в его сторону, пристально взгляделся рысьими глазами в немое лицо недруга Калины Богошкова и вскричал натужно, не таясь:

– Душегубец, кровь проступила на перстах твоих!

Глава пятая

Ему объявлено увещание, что истинное признание избавит от истязаний.

Вторую неделю добивались от Степки Рочева признаний в убийстве вдовой бабы Парасковьи Ханзиной да ее девки Варвары, но парень запирался, божился, вот те крест, ничего слыхом не слыхал и в тех местах веком не бывал. Исправника Казакова путал, сбивал с мысли, на Калину Богошкова доносил, что у Березницкой деревни примерно версты в четыре он да товарищ его Алексеев, остались у ручья в лесу, а он, Калина Богошков, в ночное время ходил в амбар, что напротив часовни, для покражи, и через крышу, зорив ее, взял белого крестьянского сукна две трубы, которое и поделили они меж собой, да рубаху мужскую держамую из синей пестряди, шубу овчинную, да семь фунтов масла коровьего, шестнадцать фунтов соли и пешню-острогу. Тряс обросшей кудрявой головой, чуть ли не слезу ронял Степка Рочев, а стоял на своем.

– Да побоись Бога, Степушка. Что ты со мной делаешь, пощади живота моего, – увещевал глухим голосом Калина Богошков, стараясь заглянуть Степке в глаза. У Калины щеки совсем запропали в светлой бороде, ему что-то нездоровилось, выбитая в колене нога разбухла, и уже третью ночь мужик толком не спал. Но каждый день водили его на расспросы, все допытывались, почему не сказался, что видел в бегах Степку Рочева, да как зорил полевой амбар, да где попрятал покраденное имение.

– Ну почему же тогда-с не доносили? – допытывался исправник Казаков, рано полысевший от неустроенной своей жизни и от служебных скитаний по уезду. Он уже о чем-то догадывался, но многого и не знал, потому как беглого солдата Алексеева случайно застрелили при задержании в тайбольской избе. Виновный уже под стражей, ему не миновать колодок, но дело стоит, потому исправник недовольничал, грозил батогами, но что-то медлил, словно не знал, с которого начать: иль с обросшего кудрявым волосом беглого матроза с шальными ночными глазами, иль с простодушного светлородного мужика из Дорогой Горы, которого исправник каким-то образом припоминал.

– Ну почему тогда не повинились? – повторил исправник.

– Заstraщал, ваше благородие...

– Ну а ты, крестьянская девка Павла Шумова, отчего не открылась? – спросил у Павлы. Та сидела у двери, простоволосая, растерянная, с глупо открытым ртом, часто всплаки-

вая, вспоминая татушку, которого покинула в сиротстве, в истопленной избе, некормленного-непоеного. Девку мутило, словно бы она что дурное съела, голова кружилась, хотелось запрокинуться на лавку и лежать. Порой взглядывала испуганно в Степкину сторону, и если бы он был побитым и печальным, она, пожалуй бы, молчала и под плетьюми, но Степка весело похохатывал, порой резко склонялся, хлопал гулко ладонями по новой оленьей обувке, перевязанной под коленями шерстяной тесьмой. И эта Степкина веселость Павлу смущала и гневилась, а парень, не скрываясь, раздевал ее взглядом донага нахально и больно. И девка прослушала вопрос, глаза ее покраснели, и родились крупные слезы.

– Простите, батюшка, глупу девку, неразумну. Я маленько вздремнула.

– Чурка с глазами, – вдруг сказал Степка, нагнулся и опять хлопнул по новехоньким тобокам из оленьих лап. И эта обувка смутила исправника; он заново перелистал дело, все допросы, где что пограблено было, и в дознаниях тобоки не числились, а значит, покрадены совсем недавно.

– Застращал он меня, батюшко. Спусти ты меня, у меня тата на печи голодный, холодный, – взмолилась Павла, боясь глянуть в Степкину сторону. – Ты-то молчи, зверина. Мы тебя, как родного, поили-кормили...

– Вот те и застращал, – толстые Степкины губы расплылись. – Знать, и тебе сладко жилось? – добавил, намекая на что-то.

– Зверина ты, у-у, тыфу, нечисть. Ножом угрожал, батюшко. Глазищи-то у него, кого хошь перепугат. А у меня тага на печи да я, девушка. Уж спустите как ли.

– А тобоки отцовы? Захарий Шумов дал? – вдруг спросил исправник у Павлы, но мельком глянул на Степкино лицо и заметил, как дрогнули растерянно глаза.

– Не, в них и пришел. У нево и совик-то новый, с хорошего сукна, небось кого пограбил, да, как я показывала, в холсте зашито платья всякого да платов. А мне-то сказывал, что на свои деньги куплено. Дак спустите, батюшко, – взмолилась снова девка и повалилась на колени. – Куда я тепере, позорна, денусь. Только в пролубь головой...

Павла стала биться на полу и стенать, на том допрос неожиданно кончили и всех отвели в арестантскую, а на Степку Рочева исправник повелел колодки надеть. И еще неделю пришлось сидеть в холодной Калине Богошкову и Павле Шумовой, пока-то разыскивали в тундре самоедского пастуха Матвея Лытуева. Тот посмотрел на Степку и признал на его ногах тобоки своей работы: в прошлом годе шил и продал задешево по старой дружбе покойничку Ханзину.

– У, лопь косоглазая, – вскинулся Степка на низкорослого смуглолицего ненца, но не успел и половицу перешагнуть, как усадили на лавку умелые стражники. И поник головой Степка, понял, что запирается не след более, и много было в тот день работы для подканцеляриста Никифора Митрофанова.

И Степка Рочев показал: «... По осени в пустой промышленной избе жили немалое время, но покраденная ранее мука кончилась. А знал он, Рочев, что невдалеке от этой избы есть дом и живет там Дорогорской волости крестьянин Иван Ханзин с женой и дочерью. И о том сказал сотоварищу своему Алексееву, и тот поутру пошел туда просить хлеба, и того же дня вернулся обратно, и принес два житника прелых, и сказал, что хозяин недавно помер, а в доме живут только жена его и дочь. И Алексеев стал звать Рочева пойти и жену и девку убить, а имение пограбить, на что он, Рочев, сказал, что на убийство не пойдет. Тогда Алексеев без согласия взял с собою нож в ножнах и копье, которое они нашли в этой избе, и пошел один ко вдове Ханзиной. А вернувшись обратно, сказал, что жену и девку убил до смерти, а покраденное имение все притянул на чунке. Но всего имущества Алексеев не показал, а только хвастал бураком берестяным, в котором было денег ассигнациями шестьдесят пять рублей, да серебряных пятнадцать рублей, да медных пяталтынников сколько, про то он, Рочев, не знает, потому что теми деньгами Алексеев не поделился, а забрал себе.

На товарище был покраденный ранее у березницкой деревни в амбаре суконный совик, а на совике том – кровь. Он ту кровь замыл, сапоги, которые по ветхости при побеге пропали, выбросил и надел тобоки покраденные, а вторые отдал мне. Что случилось в том доме, он, Рочев, знает только по словам Алексеева, который рассказывал так, будто пришел к избе Ханзина на лыжах уже вечером. Копье, дескать, оставил в сенях у дверей, а нож в ножнах взял с собой. Зашел в избу, просил у бабы Ханзиной денег двадцать рублей, хлеба и сказывал, что пойдет явиться. Но она жонку хлеба и денег давать ему не стала, а бранила его, Алексеева. Тогда он осердился, вынул из ножен нож и тем ножом стращал Парасковью Ханзину и просил хлеба. Замахнулся он на оную жонку ножом, и она руками обороняться стала, попало ей по правой руке, по кисти. Она не убоялась страху, схватила Алексеева сзади за опояску, а девка Варвара убежала на улицу. Потом вытянул жонку из избы, взял в левую руку оставленное у дверей копьё и тем копьём бабу Ханзину колол, во что угодить мог.

Мать девку к себе на помощь прикликала с улицы, Варвара прибегла и Алексеева сзади копьем в шею ткнула и проколола на нем суконный совик, а тела не повредила, после того свое копьё бросила, а копьё в руках Алексеева захватила и хотела его отнять. Тогда он ножом девке по руке чиркнул, и девка убежала в овечник, а мать упала на пол. Алексей погнался за девкой и дверь в овечнике с внешней стороны завязал веревкой, а когда вернулся, то увидел, что баба Ханзина еще жива, и лежащую ее тыкал копьем два или три раза. А когда она стала мертва, то накрыл сверху оленьей полостью и пошел в клеть.

Искал там денег и найти не мог, пошел в амбар и там денег найти не мог, пошел в гумно и топором рассек две бочки с мукой, но кроме муки там ничего не было. Потом искал в доме денег и нашел во дворе под скотинными яслями прикрытый навозом берестяной бурак с медными деньгами и ассигнациями. Еще взял в сенях винтовку, топор, шубу овчинную небольшой руки, в клетки разбил короб и взял из него рубаху мужскую красную александрийской пестряди, полурубашье набойчатое женское, да плат красный александрийской пестряди, обложен нитяным кружевом, да двои тобоки, шитые из оленьих лап; на улице на дворе нашел чунку, погрузил имущество, привез в тайбольскую избу и сказал мне, что жонку Ханзину и девку ее убил. А мне из пограбленного Алексей отдал рукавицы женские, да две рубахи синие пестрые, двои портки, да холста белого восемь аршин с половиной, двои чулки шерстяные вязаные, да два платка набойчатые.

А что еще покрад Алексей в доме вдовы Ханзиной, он, Рочев, того не знает, потому что тем же днем, боясь, чтобы не поймали, пошли из той избы на низ реки, где и спрятали ружье, а чунку сожгли. Потом он, Рочев, стал склонять Алексева, чтобы явиться властям, пока убийство не открылось, дай Бог, посекут да обратно в адмиралтейство отправят, но товарищ не захотел, и они тут разминулись. А где он сейчас, того Рочев не знает...»

Следствие затянулось, и конца его не видать было. Калину Богошкова отослали к городничему под стражу, он совсем разболелся и пал духом. Однажды навестил его свояк, дорогорский староста Петухин, посоветовал отписать прошение властям, чтобы освободили на поруки ввиду крайней болезни. Калину осмотрели и нашли, что крестьянин Дорогорской волости Калина Богошков «подлинно одержим болезнью в ногах и лихорадкою, которые причиняют ему большую слабость и бессилие и имеется во внутренности изнурение его тела».

Калину отдали из-под стражи на поруки канцеляристу Патрикею Аксенову и мезенской команды драгуну Ивану Ершову, и взята была с мужика подписка, чтобы жил он на городе Мезени в верхней слободе и до решения дела никуда не отлучался, а еще было объявлено ему, «чтобы впредь с лихими людьми, татями и разбойниками обхождения не имел и об них, когда узнает, объявлял».

И только в самую весну Степку Рочева обули в колодки, потом секли прилюдно на Мезени и в Дорогой Горе и по этапу отправили в Сибирь. И, зная, набегался с той поры

верховой няфтенский парень, потому что след его канул в полуночной стране, откуда редко кто являлся назад.

А Павле Шумовой и Калине Богошкову по всемилостивейшему указу царя плети заменили батогами, и на деревенском сходе прилюдно выпороли за их доброту. Павла к весне совсем сникла и постарела, снежный волос родился на голове, а на впалых щеках проступила пятнистая ржавчина: неожиданно затяжелела девка. И когда ей бесстыдно заголили спину, заворотив на голову юбки, как в ту единственную ночь, она как же покорно лежала и только выла, не сдерживая себя, и украдкой упиралась локтями, чтобы не давить животом в скамью.

Часть вторая

*Одно начало, да разная дорога
Поморская поговорка*

Глава первая

Тайку на этом свете не ждали.

Сына просил у Бога Петра Чикин, потому как все девки рожались, одна за другой, попридержать бы их, а нужен наживщик был, чтобы землю на него отрезали, чтобы за сохой мог стоять. Петра самолично двери настежь отворил, все замки спрятал; с Гутки кольцо серебряное тонкое снял и косу расплел, только знай рожай сына, жонка. Да и Августе попреки в горле встали, рада хоть пятерых парней разом принести, только бы не точил мужик гнусливыми словами, да и понимала бабьим умом, что женские годы под гору покатились, вот и живот частенько постанывает ныне. Потому и крепилась Августа, и брюшину затягивала, чтобы в глаза людские не бросалась; скрывала она, что на сносях, как бы не сглазили колдуньи-еретницы.

Перед тем как Тайке родиться, было над деревней знамение. Еще утренняя заря не отгорела и печально и багрово потухала, покрываясь серым пеплом мглистого неба, и солнце еще не проклюнулось из снежных заводей, как за второй Пыей, на синих лесных склонах, родились и стали пухнуть два мутно-холодных шара. Они были подернуты изморосью и весь день тащили за собой похожее на донце медной кружки крохотное солнце и до самой вечерней зорьки колыхались, то вытягиваясь оранжевыми столбами, то странно расплющивались, иль стояли красными языками, подобием пламени великаньей свечи. За весь день тусклое солнце так и не проклюнулось сквозь розовое марево и вместе с ним вернулось в снежные облака.

Людям было страшно. В тот день в Дорогой Горе не гасили лампадок, крестьяне сушили всяких напастей, а где-то за полночь в самую потемь так закуревило – Божий страх. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржила, накатисто ударяла в волоковые оконца, словно нащупывала слабинку, и тогда казалось, что изба Чикиных скоро не выдержит и падет на колени. Порой ветер катился через повесть, совался в неплотно прикрытую дверь меж соломенными обвязками, и снежная пыль легко носилась над самым полом. Баба Васенья не стерпела, тяжело спустилась с печи, сняла с засторонка жирничок.

– Находальники, стомоногие жеребцы, носит взад-вперед, а уж двери прикрыть не помыслят, – захотела отпахнуть пошире дверь, чтобы заново прикрыть плотнее, но она отпота, разбухла, а может, выросли на пороге наледи, – и пришлось брякать ногой. Тут и всполошилась неожиданно дочь, захлебнулась в крике. Баба Васенья с жирником побежала к Августе, закричала зятю...

– О-о-о, чешишь больше. Осподи!

Петра скорее к повитухе Соломониде, хорошо рядом, на самых задах жила старушка-девица. Потом снег отвалил от бани, запалил каменицу. Березовые полешки положены были загодя и схватились сразу. Не успела выстояться баня, и Августу привели, готовое дело. Петру выгнали вон – не мужское дело быть при родах. Соломонида растелешила роженицу, в пар пока не повела, угар еще гнезвился под низким потолком. Вдвоем с бабой Васеньей водили Августу в сенцах да потряхивали: той было больно, она кричала животным голосом, но освободиться не могла.

– Ты поплачь, ты пореви, – бормотала баба Васеня, необычно жалея дочь. – Осподи, через горе да на горе, вся-то и жизнь. Ведь говорено было, не ешь хлеба ячменного, а ты все ись хочю да ись хочю, вот и нажоралась, – вдруг закричала на Августу.

А повитуха, маленькая и опущенная, как осенний гриб, мужицкой ладонью оглаживала роженицу по спине, по плечам: Августе становилось сонно и безразлично, боль куда-то ушла, и только слезы стекали по лицу и мешали дышать.

– Ты пыжься. Не иначе паренек идет, ишь своенравный какой, ширится, мамку мучит и сам мучится. А ты, голубица-касатушка, не садись, ты похаживай, ты поскакивай. Знать, поперечно идет молодец.

Но без лошадиной упряжи не обошлось, пришлось тянуть бабу через пахнувший зверем и потом тесный хомут, тут все облились стопами и банным жаром. Только под утро пришла девка. Августа по крику узнала, кого принесла, головы не повернула. А повитуха подняла девку за ножки, по заднюшке похлопала:

– Эки-ти девки у нас в слободке еще не рожались. Голова-то вся в белых волосьях, хоть под венец ставь, густы-ти сколь.

– Будет тебе ерунду молоть, – остановила баба Васеня. – Как положено, так и рожено. Людей не насмешили, на стороне не займовали.

Повитуха обиделась, луковичное лицо спрятала за сетку морщин, пожевала губами, но смолчала: ребенка разложила на скамье, веником березовым захлестала, запричитала уже сухим, почужевшим голосом:

– Не я тебя мыла, не я тебя парила, мыла тебя, парила бабушка Соломонеюшка. От Христа пришла, от истинного, с мягкими руками, с крепкими словами, мыльным мылом, теплою водою мать-мироносица, рабы Божия, на легкую помощь, на доброе здоровье, на Божию помощь. – Квасу в рот набрала, погрела-побулькала, роженую напоила, пряника чердынского нажевала, в тряпку завернула, сунула в рот. – Ну, не ревишь, значит, смиренна будешь.

И только Августа на дочь не глянула, а мать веником ее лупит и утешает:

– Ну, чего ревишь. Обратно не запихнешь, не воротишь. Не зашивать же веретенкой, коли идут.

– Да, идут, – в голос воет Августа, обвисая на скамье. – Теперь хоть в избу не ворочайся. Забьет, ирод.

Тут и свечи принесли в баню, самовар – он еще кипел, пузырился и от мокрого пара сразу запотел, стал белым. Пряники чердынские да орехи-меледу в тарелках поставили на полки. Соседки навещали, чай пили, девку мяли, в зеленые глаза смотрели.

– Эко чудо, таки у нас еще не рожались.

И только Петра Чикин дочь не навестил, до вечера в питейном доме пропадал, диво какое, небывалый случай: нагрузился вином, потом в сугробе сидел, редковолосая голова в снегу, в бороде слезы замерзли. Мужики узнали его беду, идут мимо, спрашивают:

– Петра, кого Бог дал?

– Работницу-оржануху. Кому нать, за полушку отдам, – пьяно кричал Петра и опрокидывался в снег.

– Ну, буде, буде изводиться тебе. За слезы деньги не дают. Ты не реви, Москва слезам не верит. Подрастет девка-оржануха, мужика во двор заманит, худо ли ты живешь?

– Кака к лешему жизнь, в чужом-то дому с руки ешь, слова громкого не скажи, – пьяно жаловался Петра.

– Как же, тебя с руки накормишь, кукушку эдаку. Поди давай домой-то, дочку приветь. Божий подарок.

... Через неделю Августа с дочкой из бани вернулись. Петра бабу не колотил, но и разговаривать не стал, с печи не слез поглазеть на дочь, а только шипел тоскливо:

– У, колода вислобрюха, деревянна ступа. – И даже на повитуху голос поднял, будто ее вина была в том; чаем не напоил и стопочку не поднес, как полагалось по старинному обычаю, не нами заведенному. Хорошо, баба Васеня сундучок свой открыла с немудрящим обзаведением, там из коробки чайной рубль денег достала – на похороны копила, да свой сарафанишко набойный ношенный, да кусок мыла, с фунт будет, отдала: «Ты у нас, бабушка, опачкалась. Вот возьми мыла, оно тебе спонадобится».

Роженую окрестили Таисьей, на третий день, как заведено, молоком коровьим цельным кормить стали: от старшей сестры, от девки к девке шел белый жестяной рожок, – купил его Петра на Пинежской ярмарке, – на рожок натянули коровий розовый сосок, налили молока сырого – пей, девка, надейся, набирай кость да мясо для бабьей доли.

Глава вторая

В ту ночь на Кузьминки, когда у Петры Чикина нежеланная девка родилась, сироте Павле Шумовой тосковалось. Она еще не думала опростаться, хотя и бродила по дому тяжело, юбки расперло – и пришлось разнаставлять; поднималась с лавки, упиравшись широкими ладонями в опухшие бедра и трудно разгибая спину; с лица совсем опала, окостявела, и глаза стали круглыми, коровьими и совсем провалились в синие ямы. Павла часто гляделась в тусклый лик Матери Казанской, в ее печальные и зеленоватые при свете лампы глаза, сонливо вздыхала и всплакивала, роняя короткие слезы.

На улице пуржило, Бог ты мой, не приведи Господь в такую непогодь ехать полем. Бездумно молилась Павла за того, кто в пути сейчас, татушку поминала, боязливо озиравась на печь, словно бы он там лежит, со страхом прислушивалась, как воет ветер на повети, как ударяется в волоковые оконца и натужно вздрагивает в слуховом окне волочильная доска.

– К покойничку ветер-то, – шептала Павла пересохшими сизыми губами, ту же запахи-валась в черный плат. – Кого-то приберет Господь, успокоит. А татушке не довелось, лег на чужбинке, мается сейчас, ой и не лежится небось ему, не можется. Не он ли и просится в дом.

Прислушалась, показалось, будто корова мыкнула во хлеве. Вот беда тоже, ввечеру едва поднялась Пестронюшка и молока с пригоршню дала, а уж вымя-то горячим камнем: осподи, хоть бы коровушку мою не сронило. Достала из солонки щепотку соли, зашептала тупо, озираясь на дверь; потрескивала лучина в светце и, шипя, осыпалась искрами в корытце водой:

«... Призываю я, раба Божия Павлушка Шумова, к своей скотинке, крестьянской-то животинке, Пестронюшке моей спасительнице, вечно упомяну я нокот нутряной, сердечевой, паховой, здоховой, рудяной, костяной, зажилной тож да закожной, еще зашерстной да закопытной... Осподи, не дай осиротеть».

Запалила лучину торопливо, дверь отпахнула ногой, у порога целые сугробы снега, перемело насквозь, да и что говорить, в сиротском доме нуждишка в каждую щель ширится. А в стены ветер наотмашь бьет, кажется, вот-вот изба раскатится по бревнышку. Затихнет, да как хватит накатисто, с натужным стоном, огонь трепыхнется на лучине и едва оживет заново. Страшно Павле, черные тени шатаются по мохнатым от куржака стенам, старые сети обросли снежным мохом; под потолок высится крест с шатровой тесовой крышей и у самой лесенки, где в подызбицу спускаться, стоит гроб, а на крышке снегу внавал. Не привелось татушке лечь в свою домовину¹⁴, а ведь как старался, тесал топором из лиственницы да на точеные ножки поставил. Бывало, говаривал: не знаю, Павла, как еще наживемся, а что свадьбы играть, что похороны рядить, одинаково мешкотно, а я уж не хочу тебе обузой быть. И на кладбище рядом с женой место себе приготовил Захарий Шумов, камни откатил прочь,

¹⁴ Домовина – гроб.

чтоб сподручнее копать могилу, а вот не пришлось лечь в родную землю. Леший за руку поволок на старости лет на Пезу, вдруг захотелось навестить сестреницу.

Летом-то ожил старик, прямо молодец молодцом стал, еще дуги гнул и короба вязал под грибы-ягоды, а на самый Спас вошла блажь в голову: поеду, и все. Тут и попутье подвелось, взяли старика чернотропы, подняли на лодке вверх по Пезе в деревню Лобан, а там зажился он у сестры, потом с осенними дождями прихворнул, как-то сразу истаял весь, куда в таком теле старика спроводишь. И Павле никак не известно, что с тятей, каков он, живет себе одна и своей поры ждет. А река Пеза застыла неожиданно, и Захарий Шумов умер в самое безвременье: и на лодке не спустишься, и по льду лошадью еще рано ехать, хоть и до Дорогой Горы не столь и далеко, верст шестьдесят, не более. И не вывезли покойничка, схоронили на чужом жальнике: а перед смертью-то как плакал старик, весь извелся, дочь-то свою больно жалел.

«Осподи, куда теперь ряженье это – гроб да крест. Подумать страшно, каково приданое-то». Павла спустилась по обступанной ногами лесенке, осторожно сходила, боялась оскользнуться, – долго ли тут до беды, хитрое ли дело упасть, – лучину в зубах держала, а за перильце обеими руками придерживалась. Спускалась, а под грудью при каждом шаге будто что-то ойкало. Воткнула лучину в паз, а коровушка и не встала, только тяжело подняла мокрую голову, белая шерсть свалялась на лбу; глаза при неярком свете совсем черные, мертвые какие-то. Упала на колени Павла, взмолилась:

– Да ты скажи, косата-голубушка, что с тобою приключилось?

А ветер задувает, страсть Божия, такая заметель, что-то хлопает с заулка, шарчит по стене, словно скребется кто иль в дом просится бесприютный. Пестронюшка смотрит темно и вроде бы Павлу не видит, а из глаза слеза так и выпала. Девка ситную горбушку к мягким губам прислонила, а корова будто каменная, только животом тяжело ходит, словно кто из него вон просится. А сена охапка лежит нетронута, самое мелконькое сенцо, пахучее, в другое бы время вмиг слизнула. Павла захватила щепоть, в зубы тычет, другой рукой меж рогов щекотит, радуется корову, а та как есть ступа деревянная.

– Татушка, не оставь, возьми за собой, – вдруг взмолилась Павла, легла головой на оплывший тяжелый коровий бок. – Куда я теперь сиротиной-то вековечной, всякий меня пообидит, кажный оплюет.

Вдруг пугливо прынула, страшное почудилось ей; вроде бы странно тихо стало. Тут и лучина зашипела, осыпалась искрами, темнота обступила. Павла лицо подняла, слепо оглянулась кругом, а сама и не знает, как давно плачет, а тихо так, до жути тихо, и в стены ветер не хлопнет, и корова мокро не вздохнет, сыто отрыгая жвачку. И Павла последний раз всхлипнула, зашарила у Пестрони по морде, нащупывая ноздри, а теплый воздух уж нейдет из пасти, словно задохнулась кормилица и быстро так остывать стала.

– Ой, не-не... ты ужо... голубушка моя, – беспамятно зашептала Павла, встрепенулась, на колени встала, больно ударяясь об мерзлые кавалки навоза. – Я тебе горбушку посолою, потом ты хорошо попьешь, а к завтраму и все пройдет. У меня парево-то в кадце такое уж сытое настоялось. Я сейчас и приволоку. А пока сенца поешь, пожуй сенца-то, оно с заливной поженки, где в прошлом годе ты выгуливалась. Уж запомятовала небось? Ну ты не балуй, не упырься. – Стала девка пехать сено корове, другой рукой бок гладить, а он уже словно студеный камень-голыш.

И тут поняла Павла, что кончилось Пестронюшка, настучала заметель в ее окна новое горе, и словно судорога с девкой приключилась: тело напряжилось, голова запала за плечи, и повлекло Павлу назад, обвалилась она спиной на мертвую уже скотину и беспамятно вскричала, словно прощалась с кормилицей: «Ой-о-о». Тут с новой силой родилась заметель, ударила в стену хлева и хрипло заплакала, задыхаясь в снежных забоях. А у Павлы так больно

зашлось сердце, она туго и торопливо натужилась, чтобы избавиться от боли, и – разрешилась.

Глава третья

... День за днем, будто вода, бежит жизнь, и не бежит даже, а неторопко струится от весны до весны, когда можно возрадоваться солнцу-батюшке, и от ночи до ночи, когда костям приходит время покой дать. И пусть поздновато, но и Тайка зеленоглазая встала на кривые ножки, потом и в рост пошла, а там и три годка приспело, а где три, там и пять. Сидит Тайка на печи, словно сноп, и только побряхтывает, а все молчком, глаза, будто березовый вешний лист, с окон не спускаются.

Старшая сестра Евстоля воду в кадце приволокла, сейчас разливает по бадейкам черпачком, тихо звенькает вода, тонко поет что-то, хочется Тайке побулькаться, да лихо с печи слезать: приморило ее. Другая сеструха – Манька на печном шестке сидит, чтобы не хулиганила – не пакостила; из устья жар пышет, подпаливает девке голую попу. Манька ерзает на кирпичах, бабу Васеню тормозит за седые косички.

– Баба, ись хочу, – кричит на всю избу.

Баба Васеня чугунами ворочает в печи, матерится, мало ли еды надо сготовить на эту семью, у нее спина болит, – знать, к перемене погоды. А тут над самым ухом соплюха гундосит, минуты спокойной от нее нет, вся в отца. Баба длинная, костлявая, вместо щек сухие ямы и нос висюлькой, а волосы от печного жара розовые и сухо потрескивают.

– Помолчи ты, сичас олабыши поспеют. Лихоманка бы тебя затряхнула, ненаеда ока-янная. Отец, чего молчишь, дай ей трепки хорошей. Ужо, – грозит баба, – отдам я тебя водяному лохматому, хвостатому, любит он непослушных девок чекотать да за пятки щипать.

А Манька только пузыри из носа пускает, пятками в битую печь лупит и вопит:

– Ба-а, ись!

– Да спусти ты ее на пол, изведет ведь, – кричит Августа. Сама красная, упрела вся, экая здоровящая жонка, парево коровам в хлев таскает.

– Спусти, спусти, – боршит баба, – такую спусти, дак живо чего накудесит. У других ребята как ребята, а тут исчадие како-то.

Налила щей пустоварных большую миску, молоком закрасила, по олабышу сунула в руки, девки за столом зачавкали, засопели, подолами под носом возят, пугливо на отца поглядывают, чтобы его ложку не опередить, а то быстро по лбу заработаешь, только голова загудит. А у Петры свои заботы, часто гладит огромную редковолосую голову, молчит. Баба Васеня печь прикрыла жестяным листом, руки по локоть в саже, скуластое лицо от печного жара прокалилось, как медный рукомойник, и кожа на впалых щеках дубленая, век износу не будет ей. Корявой ладонью по внучатым головам прошлась:

– Соплями-то захлебнетесь... Эки вы, будто с голодного острова. Ладно, ужо ввечеру киселя с брусеницы сготовлю.

Девки от радости завизжали, хоть уши затыкай, подхватили одежонку, из-за стола вымелись, ускакали на поветь.

– Тайку-то заберите, – крикнула баба вослед, да куда там, только и слышно, как половицы заговорили. А Тайка на печи осталась, глазами хлопает.

– А ты чего там, чудо-юдо, девка с глазами? Иль печным воздухом живешь, иль тараканов плодишь? Ну-ко я тебе пряничка чердынского дам, ведь любя ты у меня, тиха да баска.

Баба Васеня наконец обрядилась, опорки скинула, полезла на печь, охая ибряхтывая натужно, на оленью постель опрокинулась, чуть внучку боком не придавила, сразу ее в охапку, жесткими сухими губами оцарапала Тайкину щеку; обдала девку чесноком да полыню горькой. Знать, успела баба заглянуть тайком в запечье, где у нее настойка припрятана.

Любит баба Васеня последнюю внучку. Отец-то обличьем весь серый, словно песец-крестоватик, а в Тайке ничего отцовского нет, будто согрешила Августа с проезжим ижменцем. И глаза у девки прозрачные и зеленые, и словно бы там, за мягкой их чистотой, восковые свечи таятся и свет от них идет постоянный и тихий.

Баба Васеня внучкину голову к себе пригибает, дышит полынной настойкой, а Тайка придорожным одуванчиком прорастает за спиной, тычет бабу острыми кулачками.

– Ба-а не на-а...

– Ух ты, гуля моя, – опять целует жесткими губами баба Васеня. – Глупа ты моя, неразумна. Ну чего там углазела?

– Ба-а не на...

Тайка смотрит на грязные оконца, они серые от долгого дождя, словно бабушкин домотканый костыч¹⁵: девка ширит глаза и ничего не может разглядеть. Еще вчера заметила Тайка большие вешние льдины, а лежали они, словно сытые коровы в рыжих подпалинах. С утра Тайка выбегала под окна, дальше теплых мостов нет, дальше грязь непролазная по самую шею, а может, и выше. Там, где рыжие льдины, в прошлом году соседская, Нюрки Ружниковой, корова потонула, не могли достать. А еще дальше водяница с водяным живут, они малых деток щекочут за пятки. Страшно Тайке в грязь ступить: она качается на тонких ножках, словно одуванчик недоспелый, большой живот перевешивает с мостков. Тянет слабую шейку девка, слушает, кажется ей, что льдины тонко говорят: «Чья, ты, чья?»

– Баба, я чья? – вдруг спросила Тайка.

– Господи, и что еще в голову взбредет. Чего ты там опять высмотрела? Богово ты рассуждение, родителево творение. Господи, дождинушка без передоуху. Вчера, как радугу зеленую углядела, так и сказала себе: Васеня Миколавна, жди большого дождя. Оно так и есть. Вешний дождь – хлебу вождь. У тебя, Тайка, глаз-от мой, ты примечай все.

– Ба-а-а, по дождяной дуге куда походят? – опять спросила Тайка.

– Это Боженька о нас заботится, живущим на небеси воду подымат.

– А на небе што? – Тайка тянется из-за бабкиной спины и круглыми глазами смотрит на заплаканные бычьи пузыри на оконцах. Ей жарко и душно на печке, кружится голова, и девка уж плохо слышит, что говорит баба Васеня.

– Узнаешь, касатушка. Все там будем, того пути не обойдем. Над каждым человеком человек стоит, а над всема – природа одна. На земле страдаем, на небе проживем в свое удовольствие. Для того небушко и существует – для радости... Ой-ой, глаза-ти посоловели, будто солдацкие пуговицы. Ну-ко погуляй по двору, погуляй, – баба тормозит внучку, но из-под руки не отпускает. – А начала там нету и нету конца. Все одно небо. И протекают по нем молочные реки, горы золотые стоят, и растут всякие там деревья с золотыми плодами и живут мертвые люди. Стары-ти сидят при почете в золотых домах и едят индейское мясо и чего душенька схочет, а молоды-ти, так те катаются с золотых горок на чунках. А кругом там херувимы да ангелы-хранители, музыка райская... Ну-ко, девка, давай слезай с печи, разморило тебя, как пареную репу, – оборвала сонный рассказ баба Васеня, внучку через себя перекатила и на приступок поставила.

Тайка ногой потянулась к полу, а вниз посмотреть – страшно, дух захватывает, и обратно вернуться сил нет: плохо растет Тайка. Закрыла она глаза, да и отпустила руки, будь что будет. Шлепнулась о пол мягким местом, скривилась, хотела заплакать, но раздумала.

– Сколь ты, Тайка, неловка да кулемиста. Поди давай к сестрам, вон в избе как угарно, вся захалеешь, – уже сердито заворчала баба, кряхтя, повернулась на другой бок и сонно досказала: – Господи, ведь на краю света живем, темны мы, глупы люди.

¹⁵ Костыч – косоклиный сарафан.

А Тайка к окнам подошла, расплющила нос о бычий пузырь, с улицы дождь хлещет, березы еще не распушились, бренчат живыми ветками, просятся в избу. Где-то глухо дальние двери захлопали, босые ноги заплескали по тесовым плахам, девки в посконных рубахах выскочили под дождь. Тайке видно, как сразу увяли и почернели сестрины головы. Девки давили из тонких холодных лужиц дождевую воду, она брызгала на красные пупырчатые ноги, рубашки сразу съежились, но сестрам все нипочем. В сторону Тайкиного окна корчат козы рожи и вопят дурашливо:

Дождик, дождик, перестань, —
Мы поедем на ердань
Богу молиться,
Христу поклониться,
Как у Бога сирота,
Затворяй ворота,
Ключиком, замочком,
Золотым платочком...

Потом задрали серые от дождя рубашки и Тайке малиновые от холода попы плят. Страшно девке, кожа на спине скукожилась, а в избе тихо, только слышно, как вода из ручейника каплет – дончит в пустую лохань. Тайка на всякий случай тоненько повыла. Показалось ей, померещилось, что не сестреницы на заулке грязь толкут, а водяной с водяницей идут Тайкины пятки щекотать. Тайка еще плотнее прилипла к зажелтевшему бычьему пузырю, а дождь-то нюнится в три ручья, совсем закрасил волоковое оконце небесной водой, и потому ничегошеньки нельзя на улице выглядеть.

Тут в дверь забухало, большая рогожа вплыла в кухню и, жестяно шурша, встала торчком, а за ней что-то пищало и подвывало.

– Ба-ба, – закричала Тайка. Спряталась за столом, легла на лавку, голову прикрыла ручками, а сестреницы вокруг запрыгали, запричитали.

– Таиса-крыса, дождика боисся. Таиса-крыса, дождика боисся.

Тайка тут и разглядела, что эти девки-сестры, сразу стало жарко и весело, она под образа выстала и тоже дразниться стала.

– Вам мамка зубы выпернула, во-о...

– Таиса-крыса, Таиса-крыса.

– Беззуба катара, мама хлеба не дала, солью накормила, спать повалила.

Сестры надулись, на щеках пятна родились, будто крапивой нажгло. Тайку за подол тянут с лавки. Тайка царапается, но уже молчит, на глаза проступили две дробины светлые. Ей хочется позвать бабу, но Тайка молчит.

– Старой бабки хвостик, все глодает кости да сидит на печи и грызет кирпичи.

– Ба-ба, – закричала Тайка и заревела в голос, тут уж ей вовсе обидно стало. – Чего они дразнятся? Ба-ба, возьми меня.

Баба Васеня проснулась, голова у нее тяжелая, как грузило: знать, задурило печным угаром. Она еще плохо соображала, что кричит меньшая, но уже по старой привычке причитать стала:

– И вздремнуть-то не дадут, несыти окаянные, хоть бы домовый вас к себе прибрал. И пошто девку забираете, пошто вы спокойно жить-то не можете, глупы головы, темна сторона? Я вот возьму сейчас вожжи да как начну охаживать, – закончила баба Васеня уже тише, потому что пришла в себя и поняла, что больше не дадут соснуть.

– Ба-ба, киселя хотим, – заныли тонко девки.

– Я ужо вам не киселя, а березовой каши хорошей наварю да по заднице накладу, бестыжие, совсем уговору на вас нету. Все отец слабину дает, попускает. Ты-то, Евстоля, уж совсем большая девка, скоро замуж пора, а как веретено, – бормотала баба Васеня, с печи слезала, надсадно кряхтя и постанывая, – видно, здорово разморили каленые кирпичи ее изработанное тело.

– Ну, кышьте на холодную половину. Наварю, дак позову, бат сама не съем. Да рубашонки-то не цапайте вверх, ведь большие, невесты скоро.

Девки убежали, перечить больше не стали, а Тайка стояла под образами, слезы высохли, и остались на щеках серые следочки, словно ползли из глаз две лесные улитки. Баба Васеня сняла Тайку на пол, костлявой рукой обжала, склонила свою голову с двумя тощими косичками перед Николаем Чудотворцем.

– Господи, пошто живем, на кой хрен живем?.. Ты погоди, Тайка, не щекоти старуху, – выпустила внучку, быстро навестила запечье, недолго копошилась, слышно было, как звякала бутылью, а когда вернулась к божнице, от нее опять несло полынью и чесноком.

– Андел мой, сохранитель мой, сохрани мою душу, скрепи сердце мое, враг-сотона, откачнись от меня, Спасова рука, Богородица сама...

– Баба, а это что? – перебила Тайка, но баба Васеня ткнула твердым пальцем по лбу, словно ожгла, и сразу покраснела и загудела голова.

– Ты, Тайка, бабу Васю слушайся. Я тебе не приневоливаю, ты мала-глупа, ум-от у тебя пока в ногах, но и в дела старших не встревай. – И опять зашепелявила беззубым ртом: – Стоят во граде три лика святых: Фома, да Лука, да Никита-великомученик, за нас Бога молят денну и ношну за грешную душу. Около нашего двора Иисусова молитва, Николина ограда, тын медный, ворота железны, аминем заперты, а на хоромаш святая вода...

Баба Васеня говорит все глуше, словно засыхающий ручей на мшистых камнях, порой встрепенется, сухие косички вздрогнут над головой. В избе дремотно и сумрачно, скучно Тайке и одиноко, хочется бабины мышинные хвостики дернуть, но боится трепку получить, потому все стоит у окна, слушает, как егוזят, топчут на повети девки да глухо льется на тесовые половицы мостков проливной дождь.

Глава четвертая

Уже и на вешнего Николу вода пришла и схлынула, а тяти все нет, может, и сгинул он, потому и мать блее холста, все молчком бродит по горенке, губы поджигает, словно что сдерживает в себе: хоть Донька не велик, на Успенье восьмой стукнет, но он все понимает. Желтоволосая мама Тина осунулась, сине под глазами, нос заострился и как-то подался книзу. Еще прошлой весной на окладниковском карбасе ушел Калина Богошков за кормщика на Матку – и вот до сих пор нет его. «Господи, господи, убереги его от злых сил, дай выстоять, – шепчет желтоволосая Тина. – Нынче во снях сиху-ягоду видела. Уж столько ее, море черное, разлитое. К слезам снится эта ягода, к слезам».

– Ты поди побегай, Донюшка, да с Яшкой Шумовым не водись. Экий сколотыш настырный, все чего-то выдумает.

– Не, мамушка, он хороший. Он ничего не боится. Вчерасе Петры Чикина жеребца хвост отсадил по самую репицу. Мы с ним силья скать будем.

– Ужо поймает Петра, уши вам оборвет. Ты не вяжись с Яшкой, сынок. – Тина оправила на сыне кафтан. Единственный сын-то, уж больше Бог не дал, а так хотелось деток, но, знать, не судьба, кому что на роду поставлено. – Ты на босу ногу не бегай, лапотки не скинывай. Долго ли простуду схватить.

– Не-не, мама, – прижался Донька к теплому материну животу, подышал в ситцевый, пахнувший хлебом сарафан, как бы нагрелся от него, а сам украдкой нет-нет да и на шесток

взглянет, где блюдо с шаньгами наливными стоит. Вроде бы и сыт, да охота перед Яшкой похвастать, у него мать таких не печет, они все шти пустоварные намолачивают, аж за ушами пищит.

Тина стала камень-дресву толочь в ступе да щелок в лохани мешать, сразу запахло зольной водой да горелым камнем. Два березовых голика под порогом лежат, ждут свой черед, ой, придется им поскрипеть нынче. С Пезы взял Калина Богошков жену, от грязав-чернотропов привез, у них избы-то кушные, по-черному топятся и по всей-то деревне сажные черные дороги наторены, с того и зовут тех людей чернотропами. Но Тина не такова, отлична от них и лицом и рукодельем. Вот и нынче затеяла она большое мытье и ради весны, и за-ради души, хочется ей отвлечься, погасить нескончаемые думы. Сегодня два березовых голика изотрет-измочалит, каждое бревно вышоркает до морошечного налива, а по полу белому босой ногой ступить любо. Распахнула ставеньки, двери открыла; сквозь цветные стеклышки солнце пробилось, заиграло по избе, свежим сквозняком дохнуло из повети. «Осподи, Калинушка, дай спутного ветра». Заткнула юбки, заголила жилистые ноги, все двери уличные на запор, чтобы кто не подглядел, тут все наружу, тут одежда мешкотна и навязчива, как разойдешься, тут впору совсем растелешиться.

– Ты поди, Донюшка, побегай, да близко к воде не ходи. – Стала голик в ладонях мять, увлеклась Тина заделем, про сына забыла, а тот живехонько шаньгу наливную с блюда уволок и бегом из дома, только двери поветные схлопали.

Остановился Донька на взвозе и захлебнулся ошалело от счастья, от какой-то упругой радости, что поселилась в нем, и надо дать разгон, иначе лопнет Донькино сердечико, ей-Богу, лопнет. И Донька засмеялся: «Ух ты...» – прикрыл хмельные от весны глаза белыми ресницами, ячменные волосы неслышно осыпались на лицо. Украдкой оглянулся, не следит ли мамка, хотел лапоточки под взвоз закинуть, да остерегся, палку меж ног сунул и помчался лошадкой, тпрукая себе под нос. Поспешил к реке, там заждался небось Яшка Шумов, а невольно у избы Егорки Немушки остановился, рот открыл, до того интерес забрал Доньку. Стоит, слушает, как пила словно бы моргает светло и спрашивает «вжик-вжик», и опилки, желтые на солнце, легко сыплются на черную утопанную землю, на опревшие онучи Егора Немушки, на его опущенные плечи и на постоянный овчинный треух, сбитый на левое ухо.

Забыл Донька и про шаньгу, и про Яшку Шумова, который заждался, смотрит он на Гришку Деулю, и страшно за него: стоит мужик под самыми небесами в широкой посконной рубахе. Там, наверху, наверное, ветрено, потому что борода вехтем и закидывает ее за плечо. Тянет Деуля железо сквозь еловое бревно, и весь вид говорит, как ему весело. Он пыхает красными щеками, Егорку Немушку подтыкивает: «Дай деру, дай деру Немушке Егору». И Донька тоже тихонечко пропел в лад пиле: «Дай деру Немушке Егору». Завидно Доньке, вот бы на верхотуру попасть, весело там; не видно ему, что у Деули рубаха черная от пота. И у мастера Егорки жирные разводы на спине, но Немушко тоже светится лицом, потому что, слава Богу, весна, дожили до тепла. Нос у него утушкой, брови рыжие торчком, что-то свое мычит, может, песню поет, порой сплевывает, и лицо у него мохнатое от опилок. Может, он говорит Доньке: на, поддержишь за пилу, но мальчишке не понять мычанья; он подходит ближе и смотрит в некрасивый кривой рот, а Гришка Деуля сверху кричит, скаля зубы: «Эй, Донька, портки потерял, невест-то всех распугаешь».

Доньке страшно и весело, он высунул язык и закричал пронзительно, по-бабьи: «Дюля, ты откуля?» – так на деревне Гришку Деулю ребята дразнят, а мужик не обиделся, дурашливо зарычал, пугая мохнатыми бровями: «Оттуля я, от гуля». И Донька спохватился, вспомнил вдруг о приятеле, помчался к реке, скатился в овраг, а там было сумрачно еще и сыро, солнце заглядывало туда лишь на закате, оттого на склоне лежал линялый ноздрястый снег, пробитый мышиными норами. Донька скинул лапотки и, проваливаясь по колена, побежал снегом, душа у него охала, и холодно и пусто замирало под самой грудью. Выскочил на солнцепек,

запрыгал голубыми ногами по обветшало́й траве, белой, как Донькины ресницы, и скользкой, будто намыленной.

Тут, как ящерка, выскользнул неожиданно Яшка Шумов, сам озабоченный, глаза насупленные, волос на голове вигой, мать об его кудри отцов гребень весь извела.

– Ну чего ты, соня-засоня. Я тебя заждался, а ты как вчерашний день, – сказал Яшка взросло, переступая черными в цыпках ногами. – Пойдем вершу ставить в шарке, гам вода спала. Рыбу на костре жарить будем...

– А у меня во-о, – показал Донька крупяную шаньгу и хотя сыт был по горло, а похвастал и откусил, стал сладко жевать, причмокивая. – Хочешь? Мне не жаль.

– Не, у нас самих полно, мамка намедни пекла. Даже кулебяку рыбно. Думал, живот лопнет. Два раза на ветер слетал.

– Ну да, ври-ко? – не поверил Донька.

– Пропасть мне, если вру. Ой-ой, гли-ко, червяка съел, – вдруг закричал Яшка, пугливо замирая и хватаясь за живот.

– Где, ври-ко боле? – испуганно заморгал Донька, оглядывая шаньгу.

– Слеподыра, слеподыр, червяка слопал...

У Доньки замутило в животе, он шаньгу решил в снег закинуть и замахнулся уж, но побоялся Божьего гнева и раздумал, в ладони олабыш замял и стал слушать, как червяк в животе ползет.

– Только брось. Скажу твоему татке, что хлебом бросаеcе. Он быстро тебе уши накрутит.

А Донька стоял немой, моргал белесыми ресницами и думал – заплакать иль нет?

– Ну ладно, давай, што ли, – снисходительно согласился Яшка и выхватил шаньгу. – Мой живот все стрескат.

– И ничего? – тихо спросил Донька, заглядывая приятелю в рот.

– Как ли нито... да авось. – И Яшка проглотил шаньгу.

Донька и мигнуть не успел, как ее не стало, только услышал, как потрескивало у друга за круглыми прозрачными ушами.

– Еще хошь? Я приволоку, – тихо спросил Донька.

– Да ты што... да не... У нас своих во! Лопай – не хочу. Я за-ради тебя лишь! Айда на пашню коренье искать. Скус-но...

– Скус-но-о, – закричал Донька.

И, оскальзываясь на склоне, они помчались за деревню, где туманно парила и потела под солнцем отдохнувшая за зиму пашня.

Глава пятая

И пришли вслед за гусями-лебедями незакатные дни. Выбежит Тайка на взвоз, в небе птица всякая гомонит, девку выпрашивает: «Чья ты, летим? Чья ты, ле-тим?» А Тайка босыми ножонками топчет по нагретым бревнам, волосы льняные вспахивают, рубашонка на пузе топорщится, весенний ветер щеко́чет, как собачий язык.

– Хи-хи, ха-ха, – словно синица, смеется Тайка, машет гусям-лебедям и кричит: – Задний – наперед, задний – наперед.

Слышат гуси Тайкину просьбу, и, как пуговичка на застежке у бабушкиного костыча, отрывается крайняя птица, летит на самое острие клина, и вожак покорно уступает место. Нравится это Тайке, верится ей, глупышке, что небесные птицы слышат ее синичий голос, и она все кричит: «Задний – наперед» – до тех пор, пока не проглотит небо уже тонкую, как волос, птичью стаю.

На крыльях своих принесли гуси-лебеди незакатные белые дни, все сразу перепуталось, смешалось, словно льняные полотенца, отбеленные вешним снегом, развесила баба Васенья на оконца, и уже совсем не знала Тайка, когда ей спать нужно, а когда на угор бежать. Отворит она глаза, а будто и не спала вовсе: тараканы шебарчат и в призрачном ночном свете кажутся осколками желтой живой серы, которая течет от старинных лиственниц. Тайка любит жевать серу, горько от нее во рту и лесом пахнет. Порой ночью проснется, протянет ладошку в изголовье, а там у нее всегда липкий катыш серы лежит, с вечера еще оставлен, сунет его в рот и давай чавкать и слушать, как живет ночная изба.

В избе храп, тяжело спит тятя. Порой встряхнется он, словно подбросили куль с мукой, скрипнет деревянная кровать, мать вздрогнет и спросонья бормотнет: «Понеси ты леший». Тайке видно сквозь занавес ресниц, как косо встает, матюкаясь на мамку, отец – в серых исподних, мотня болтается у колен, идет клешнятыми ногами, как копытами, по мусорному полу, обязательно коту Лампейке наступит спросонья на хвост, да еще с досады поддаст ногой и потом пьет из медного ковшика долго; и вода шумно переливается в вислом просторном животе, льется по рубахе, маленькими звездочками срывается с серой скомканной бороды на половицы.

Тайка грезит в утреннем пливучем свете и уже не знает, что засыпает вновь, а сквозь сон слышит, как баба Васенья тянет через нее квашню, потом растопку для печи, хлопотливо бормочет, подтыкая под Тайкины бока окутку, и от этого прикосновения шершавых рук девке особенно уютно и сладко спать. Но так же неожиданно, услышав бряк деревянной лопаты и все эти хлопоты по обрядне, Тайка сама собой выплывает из сна, еще долго соображает, что к чему, лезет в изголовье за черствым комом серы, сует его в спекшийся рот и чавкает на всю избу. Смолка размякла, пристаёт к молочным зубам, Тайка ковыряется во рту и вместе с серой легко вынимает из десен зуб, хлопотливо выковыривает из жвачки, вытирает его окуткой. Зубик неровный, кривой, как шильце, которым татка подшивает катанцы. Тайка бросает зуб в запечь и шепчет: «Мышка-мышка! На тебе зуб костяной, дай мне коренной».

В избе уже пахнет хлебом, баба выкатила караваи на стол, сверху домотканым утиральником накрыла, чтобы отошел ситник, набрал ржаной дух, погладила лопатистой ладонью и словно согрелась; Тайке видно, как сразу отпотели и очистились бабины глаза.

– Тайка, ты все одно не спишь. Спровадь меня в баню... Ну поди, поди ко мне, чудюдо, девка с глазами. – Сняла Тайку с печи, дала шлепка ласкового, нос утерла, горбушку отломила от карава. – Потатчица я, ну, да ладно, бывает и простится. Одна ты у меня, ласковая...

А потом они сидели на чердаке, на старых берестяных коробах: тут пахло пылью, прошлогодними лежалыми объедьями и легким тленом. Баба Васенья чихала, снимая с длинных шестов прошлогодние веники: последние банные припасы, что хранились на Аграфену-купальницу, трясла ими в воздухе, будто приноравливаясь, как ядренее хвостануть себя по спине; листья опадали, и в солнечном свете плыли бабочками-капустницами. Тайка снималась с короба, ловила сухие листья, и они с хрустом лопались в ее ладонях, оставляя зеленую прыную пыль.

Целую охапку веников понесла баба в баню, и Тайка взяла веник, чтобы погадать на свою судьбу. Вода в бочке уже забукосела от грязи, покрылась серым налетом, и ползали по ней жучки-паучки; сажа куделью висела на черном потолке и шевельнулась неожиданно, когда раскрыли дверь. Баба Васенья зашла в баню, а Тайка робко выглядывала из сенцев, глаза у нее потемнели от страха, что-то косматое шевелилось в дальнем углу под самым потолком: знать, там и живет баннушко-чертушко с большими зубами и красными глазами. Тайке страшно, она тихонечко покрестила себя пониже пупа, подумала и бабу Васю осенила крестами, невольно присела.

– Ба, а тебе не страшно, ты не боиссе баннушки? – спросила из-за спины.

У бабы розовые от натуги глаза, она дула под черные камни, шевелила ленивый огонь, чтобы распалился он, побежал по дровишкам. Потом долго отпыхивалась, пока пришла в себя, приставила к двери черемуховый кол, на бережок села и Тайку к себе притянула на колени.

– Глупо ты, чадо, неразумно. Зверь на доброго человека зуб неймет. Дьявол, он ведь противу доброго молодца другого человека сотворил – разбойника-находальника.

У бабы Васени щеки совсем сухие, нос висюлькой почти до губы, и под носом всегда мокро. Тайке почему-то жалко бабу Васю, она еще плотнее прижимается к мягкому ее животу и тербит белые косички. А тут совсем родилось солнце, покатилося над Пыей-рекой, за дальними рыжими болотинами и синим дремотным ельником; вода в Курье заиграла, прибрежные глины-няши заплывились, затлели утренним солнечным жаром. Мелкая вода в Курье, совсем кроткая и желтая, как брага; рыбы-малышки кидались в верхние струи, и тогда по недвижной воде шли белые круги. Комары разнылись у баньки, толклись над самым угором, но горький березовый дым пугал, и они серой пылью оседали в прохладные заросли лебеды и крапивы. Бабу Васеню сморило совсем, она еще какое-то время смотрела на дремотный покой, о чем-то вздыхала, гладила внучкину голову, потом сказала вдруг: «Люди ведь как трава: их секут, а они растут. Господи, с такой земли бы не уходил». Она еще что-то шептала свое, уже неслышное, голова ее стала вздрагивать чаще, нос висюлькой скатился в самый подол, и баба устало всхрапнула, припадая телом к земле...

Днем вся Дорогая Гора мылась в бане, потому что нынче Аграфена-купальница, нынче гадание на банные веники. Баба Васеня девок перемыла, выпроводила на заулочек, потом и последнюю внучку отхлестала березовыми листьями, на лавке-полке раскатила и долго мяла железными пальцами, словно кожу снимала.

– Животик-то рахитный. Мы тебе животик-то поправим, – бормотала баба Вася. – Ты хлеба-то много не ешь, у тебя матин животик. А подобает всякому человеку беретчиси от хлеба недопеченова, ибо великие болезни от того рождаются; да не едим хлеба горячева или гораздо мяхкова, да пусть переночует...

Целую шайку воды выплеснула на девку, и та сразу распялилась, задохнулась, зафуркала, прийти в себя не может, а баба Васеня с полка стянула, не дала опомниться, осушила внучку тряпицей, под мышку веник сунула, а сама уж хлестаться не стала. Умаялась она, ей бы сейчас кваску холодного да на лавку пасть. Плеснула на себя из ковша, вот и все мытье, один веник парной на полочку положила, второй – с собой взяла, на пороге поклонилась и сказала: «Спасибо тебе, баннушко, на парной банечке».

А там, где Курья приворот делает под самый каменистый берег, столпились на влажной осотной лужайке мужики и бабы, топчут еще мелкошкустую острую траву осоту, под ногами ребятня путается: для них редкая забава. Людишки все медные от бани, на ситцевых рубахах потные разводы, банный и бражный дух прет от православных за добрую версту. Влажными, черными от мытья вениками от гнуса комариного отмахиваются и березовый лист, просохнув на лету в палючих воздухах, уже на землю падать не спешит, а летит косо, на потеху ребятнишкам, потому что ошалелые собаки несутся за листьями, как за большими зелеными мухами хватают, кусают их с ходу, чихают от березовой жгучей пыли и со злости задирают друг друга.

Пятилетняя Тайка у бабы Васени за спиной прячется и не отпускает ее тяжелую, как весло, руку: жутковато Тайке от веселья, которое заполняет ее нутро, от солнца, что печет белую голову, от множества брехливых собак, от бородатых мужиков и надоедлых ребятнишек. Баба Васеня что-то бормочет, часто крестится, выдирает из Тайкиной ладошки свою корявую ладонь, и потому девку покачивает, но она ногами стоит крепко и сразу ловит другую бабину руку.

Тут кто-то дернул Тайку за рубашонку, в ухо крикнул: «Жук навозный». Это Донька и Яшка промышляют, уж мимо не пробегут, чтобы девок Чикиных не задеть. Яшка малой, а заводила, беда какой обормот, все чего-нибудь надумает: сразу Тайкину рубаху на плечи задрал, девкин рахитный животик на стыд выказал да своей ногой Тайкину прищемил и в плечо рукой подталкивает, чтобы девка на землю голой заднюшкой села. А Донька Богошков голубые глаза ширит, палец во рту сосет. Потом вытащил слюнявый палец изо рта, запел:

– Девка глупа, нету пупа, пуп на елке, съели волки.

– Девка без пупа, девка без пупа, – запрыгал Яшка, а Донька снова палец в рот и хлопает белыми ресницами.

– А ты тоже, – робея, сказала Тайка, пересиливала себя, чтобы не заплакать.

– Что тоже? Тоже негоже, тоже по роже, – по-гусиному зашипел Яшка, сделал разбойное лицо и неожиданно ухватил Тайку за нос, да так больно, что два светлых соленых жука родились в уголках глаз. – Ну чево тоже? – Яшка еще сильнее ущемил нос, и глаза его стали темнее и страшнее.

– Ты тоже беспуный, – решила и сказала Тайка, беззвучно плача крупными редкими слезами. А Донька опять вынул изо рта мизинец и запел:

Кто тоже, тот погана рожа...

– Ба-ба, – наконец громко заплакала Тайка, дернула бабу Васеню за костыч. – Ба, а чего они дразнятся.

– Кыш, находальники, чего девку Таиску забижаете, – прикрикнула баба Васеня и, не оглядываясь, пробовала зацепить которого ли, да где там: их будто ветром сдуло.

Тут что-то ровно вздохнуло, легкий ветер пришел с моря, всколыхнул устоявшуюся мару, шевельнулась вода, и родилась на ней легкая синяя рябь. Толпа взволновалась, катаясь на скользкой няше, топая по ней и проседая по самую щиколотку. Стали забродить в ручей, кто-то смеялся, кто-то громко рыдал, выли собаки, их тягучий надрывный лай приносил тревогу и ощущение несчастья.

Баба Васеня тоже повлекла Тайку за собой, крепко прихватив ее за руку жесткими ревматическими пальцами. Глина обнимала Тайкины ножки, тягуче выкручивала из пахов, в самом низу животика было больно, а пяткам щекотно от прохладной няши. Потом все бросали в ручей жухлые от жары, почти безлистые веники, которыми хвостались в бане; и с суеверным страхом, часто крестясь и всплакивая, смотрели, как тонут они в желтой бражной воде и опять всплывают черными прутьями вверх и лениво крутятся в нарождающемся водовороте.

Баба Васеня бросила свой, почти целехонький веник, и Тайка слабой рукой подкинула исхлестанный и нагой, вернее, несколько корявых прутиков, которые она крепко сжимала в ладони. Охвостья до ручья едва долетели и упали на самую отмель, покрытую маслянистой лазурной пленкой, но откуда-то взялась волна и подхватила Тайкин веник. Он было захлебнулся в непрозрачной воде, на какой-то миг затонул, и баба Вася испуганно шагнула навстречу, дернув внучку за руку, но тайные невидные родники подняли узловатые, обстеганные пруты, и они закачались в ручье, будто взьерошенная мертвая ворона.

– Ну, слава те, осподи, значит, год живем – не помрем. Пойду самовар наставлю, а ты от реки подале, не толчись у воды.

Тайка еще видела, как баба Вася, перегнувшись в пояснице почти вдвое, тяжело поднималась в угор и маленькие розовые камешки снегирами отлетали от чуней. Но тут пронзительный, радостно-неистовый крик покрыл весь угор, – казалось, вскрикнула от внезапной боли какая-то великанская нездешняя птица:

– Сем-га-а ва-лит!..

Волна шла в шар навалисто, густым рыжим потоком, широко и слоисто, неслышно подминая под себя нижние пласты, и буквально вспухала, переливалась через края, как угревшееся в квашне тесто, затопляла черные глубокие следы, и мелкий бисер пузырьков сеялся поверх воды, словно внизу, на дне человеческого следа, уже поселился губастый окунь. Чайки летали над бражной водой, пронзительно кричали и хмелели, теряя белую слюну, ослепительно вспыхивали под солнцем и казались слепленными из воска. А на округлой глади протоки все резались и вспухали крутые дольные морщины, будто ручей стремительно старел. Это семга, ослепнув в мутном потоке, задыхаясь и тараща покрасневшие глаза, вырывалась на верхние, пробитые солнцем витые струи, и тогда косо срезанные черные гребни, так похожие на острие стрелецкой алебарды, мчались поверх воды, точно обрезанные от живого, стремительного тела.

Семга задыхалась, покинув море, но с отчаянием обреченного она рвалась туда, где ждали ее извечные родовые ямы, где из набухших икринок вылупились на свет Божий ее мать, а потом и она сама, и ее многие дети. Семга оглохла и ослепла от неистового желания, ее упругий хвост дрожал, как нерв, и только нежной кожей боков, которую до крови исцарапали песчинки, она понимала, что плывет не одна. И вдруг азартный зов, что взбаламутил Дорогую Гору, пронзил и налившийся стремительный ручей до нижних темных вод: будто тысячи рачков-капшаков впились в семог, и они распластались в своем движении на самой верхней и светлой морошечной воде.

А мужики, в одно мгновение забыв, что очистились от скверны, что завтра Иванов день, катились с угора, на ходу сбрасывая верхнее платье, и в одном исподнем, а кто и без, не стесняясь баб, – до этого ли сейчас, осподи, потеха-то какая, – сыпали в Курью, в крутые бражные струи, и сразу же исчезали по пояс в жирном вареве, и там, где брызги падали на белое тело, засыхали рыжие веснушки глины. Мужики становились живой нервной стеной, и в зыбком солнечном свете ослепительно вспыхивали остроги и вилы, охотничьи ножи и кривые длинные шилья с зазубринами на концах.

А на берегу, оскальзываясь на камнях-голышах, дрожала от непонятного волнения и счастья Тайка. Она дрожала и, покачиваясь, тянулась к самой воде, в голове у нее мутилось, слегка подташнивало, наверное, от голода, и мелкокожая затопленная трава зябко щекотала ноги.

Тайка и не заметила, как вошла в ручей по самые щиколотки, и вода омочила посконный подол: девка вглядывалась в глубину, и, наверное, от напряженья голову окружало, и невольно тянуло присесть. И может, показалось Тайке иль слишком желала она того крохотным сердчишком, но, оставляя за собой пенистый неровный след, от середины переполненного ручья кинулась в деревенский берег испуганная семга и неожиданно ткнулась в тонехонькие и слабые Тайкины ноги. Девка зачарованно и как-то недоверчиво смотрела на черную пятнистую спину, и косо срезанный взъерошенный гребень, и в студенистый выпученный глаз, все еще не веря своему счастью, потом стала неловко и осторожно приседать, опуская в воду ладони. И когда семга, вспугнутая живым движением руки, метнулась в сторону, Тайка повалилась в ручей, ловя упругое скользкое тело рыбы. Потом она попробовала встать, но ноги ее оказались в пустоте, и Тайка сразу обмякла, ее потянуло вниз, стало вдруг страшно, и, откинув назад, чтобы не захлебнуться, такую тяжелую голову, Тайка закричала пронзительно:

– Баба Ва-ся!..

Этот вскрик утонул в человеческом и птичьем грае, как-то никто не заметил, что тонет крохотная девка, да и до нее ли было в этой радостной суматохе. И только баба Васенья поймала Тайкин голос, потому что ее вроде бы рвануло за самое сердце, и она вдруг увидала, что внучки на берегу нет: растерянно крутнулась туда-сюда и, к ужасу своему, нашла Тайкину обмокшую голову в обезлюдевшей, переполненной Курье.

И баба Васеня, будто птица-журавлиха, мотая рукавами льняной рубахи, слетела с красного, почти кровавого от солнца угора и, не успев придержаться, так и упала в ручей, загребая ладонями воду. Она пробовала встать, но сразу не смогла, сбивала с ног быстерь, валила на спину, и потому баба Васеня поползла, проседая руками в тягучей няше. Но вдруг, толкнувшись белугой, кинулась к Тайке, вернее, к тени ее, которая еще слабо просвечивала сквозь освещенную воду.

Баба Васеня не умела плавать, да к тому же и скатилась-то в омут, вырытый пришлыми водами. На последнем воздухе, что копился в самых закрайках нутра, она подхватила увядшее Тайкино тело. Сквозь пелену баба Васеня еще видела внучку в своих руках над самой головой, призрачную и совсем легкую, словно птичье крыло. И, толкнувшись ногами от вязкого дна, сколько могла, рванулась вверх и, как садила хлебы еще утром в протопленную печь, так же катнула Тайку по воде в сторону берега...

Тайку за ноги опрокинули вниз головой, и вода тягуче и горько, выматывая душу, хрипло вылилась вон. А бабу Васеню нашли на морском берегу через неделю и привезли в деревню распухшую, черную и неузнаваемую. Было жарко, и когда баба Васеня лежала в наспех сколоченном гробу, над нею противно вились и гундосили мухи. Тайке было страшно, она сидела на печи и неотрывно смотрела то на плешивую голову читальника, то на грубую тесовую домовину на лавках, на чужое, в синих пятнах лицо и на опухлые козонки пальцев, сжимающих свечу, на которые капал удушливый воск. Тайка подумала, что бабе Васене, наверное, больно от горячего воска и тесно лежать недвижной и сдавленной еловыми досками. В кухне было удушливо и трудно дышать, хотя и открыты настежь все двери; по лавкам сидели и судачили бабы в черных платках, ровесницы Васене; они поминали Гришку Носырю, который залился еще о прошлом годе, но так и не нашли хрещеного, а уж бабе Васене как повезло, что во родную землю ляжет.

В тот же вечер, как поспела могила, бабу Васеню отпели и спешно положили в землю, в стороне от кладбища, и когда ночью все спали, она пришла к Тайке, живая и настоящая, с обгоревшим до медного блеска сухим лицом и с белыми хвостиками косичек, выглядывающих из-под повойника. Девка не удивилась и не испугалась, а спросила, радостно замирая: «Ба-ба, там тебе весело?» – «Как не весело-то, внучка, во спокойе мы там», – сказала баба Васеня, и глаза у нее были нестерпимо-зелеными, как вешний березовый лист, пронизанный солнцем. «Ты меня возьми, баба. Мы будем с тобой на чунках с золотых горок кататься», – попросила Тайка, стараясь обнять бабу и, как бывало, прижаться к ее мягкому теплему животу, но баба Васеня вроде бы неслышно отплывала и все говорила затухающим голосом: «Бог с тобой, Таюшка. Ты молода, Бог с тобой. Поживи на земле-то, поживи. На земле родной порато¹⁶ хорошо, куда как хорошо...»

Глава шестая

Мать принесла телушечку, тонконогую, вислогубую, с мокрыми карими глазами и всю черную, будто ночь, с двумя крохотными белоснежными заливчиками над передними копытцами. Мать поставила телушечку на жидкие ноги, и копытца поехали в разные стороны. Чернушка стала заваливаться на пол, хорошо, ее подхватил Яшка: он так и держал ее, дрожащую и мокрую, с тонким острым крестцом и слюнявыми губами, пока-то мать набросала у порога стогодовалой соломы, сохранившейся от прошлой коровы, и уложила туда чернушку.

– Теперь заживем, – сказала Павла, и горестное плоское лицо ее на миг осветилось хорошей улыбкой. – Петра Чикин дал за помывку бабы Васени. Помой, говорит,

¹⁶ Порато – очень.

бабку, а почему бы мне и не помыть. Господи, как, сердешную, раздуло. – Павла говорила непрестанно и все жевала губы, встряхивала простоволосой головой, не отводя взгляда от телушки. – Не заметим, как и подрастет кормилица наша. На, говорит, скотинку вместо денег.

– Ишь ты, – взросло подхватил Яшка, губы трубочкой вытянул и довольно переспросил: – Так и сказал?

– Угу...

Павла сидела у мокрогубой скотинки, обтирая холщовой тряпицей, а Яшка сзади навис к матери на спину, лохматя жидкие волосы.

– Заживем тепере?

– Ну пошто не зажить. Много ли нам нать, сиротинам, – ответила мать, быстро собрала на стол немудреную выть. Сама не ела, что-то не хотелось, села напротив Яшки, подоткнув кулаком горестное лицо, не снимала с сына взгляда и все дивилась, до чего же похож на отца. Вылитый Степанко: и волос егов, и губы, и похмычки. А ведь могло и не быть Яшеньки, как бы тогда жить?

– Ты ешь... ядреней ешь-то, понажористей. Быстрей вырастешь, – наставляла сына, а саму отчего-то тянуло поплакать тихонечко и наедине. – Ты не бедокурь на деревне, слышь? Пошто у бабы Фросиной козы рог обломил? Беда прямо с тобой. Сам не больше катанца, а смотри, что творишь... Пришла даве, жалуется: «Твой прохвост мою козу молока лишил».

– А чего она дразнитце?... Откуль такого сколотыша Павле надуло? – передразнил Ефросинью и пообещал: – Вырасту, все окна высажу.

– Я тебе высажу. В кого только горлохвост растет? – спросила себя и сразу осеклась, поняла, в кого Яшка удался. «Оборони от несчастий, – подумала, – не дай парню пропасть. Семей год идет, а все мужичьи похватки. Ой-ой-ой». – Бог мне тебя, Яшенька, на счастье дал.

– Бог, Бог, могла бы и татку иметь. Где растеряла? Все не как у людей...

– Господи, чадушко ты мое, – сначала засмеялась, потом заплакала, покраснела глазами, нос сразу распух. – Ну иди ты к матери, она тебя приласкат.

– Приласкат, приласкат. Телю-то чем кормить станешь?

– Мужик ты, мужичок. У тебя и рассуждение все натуристое.

А Яшка не дослушал, отмахнулся рукой, побежал, топоча босыми железными пятками по скрипучим половицам, только рубашонка завилась в коленях. «Господи, прибрал бы в порты, запнется да падет», – подумала Павла и закричала, поспешая следом:

– Ты куда?

– На реку, – донеслось с улицы.

– Смотри не утопни, утопнешь, дак домой не приходи, – устало махнула рукой, уже бездумно села на лавку в переднем углу, запрокинула голову и тупо смотрела в черный провал дверей, и белые подвижные тени на пустынной длинной повети, и на обыденно примелькавшийся гроб, который Павла в свое время поставила на попа, приладила досочки и ныне складывает туда всякую еду, пряча ее от надоедливых котовых проказ.

А Яшка торопился угором, просто так спешил, не зная куда, уж такая у него была привычка, все бегом, все бегом, тут и поймал его Петра Чикин за подол рубашонки, зажал меж толстых ног, будто двумя бревнами придавил. Был Петра в синей пестрядинной рубахе, растерзанной до пояса, рысьи глаза посоловели, дырчатый широкий нос увлажнел, и от мужика нетерпимо накатывало пивом, как от хорошей бочки. Знать, добро помянул бабу Васеню еще намердны, а сейчас сомлел от еды-питья и сидел на ступешке крыльца гора горой.

– Куда дорогу правишь. Яков? Как тебя по батюшке там, надо будет у матки спросить, пусть ответствует, – спросил Петра и сдал Яшку коленями, как коричневую лесную ящерку, и парнишка весь изогнулся, и казалось, оставит сейчас у Петры нижнюю часть

тулова, но Яшка – не ящерка, а мальчишка по седьмому году. – А ну, винись, не ты ли у моего жеребчика по весне хвост отнял? – И закрутил ухо, да еще вместе с головенкой так, что Яшку просквозило горячей болью до самых пяток. Он внутренне длинно простонал, глотая в себе слезы, но крохотный прозрачный родничок все же родился из смородиновых глаз и просочился на замурзанные щеки. Но простодушно-наивными глазами Яшка глянул на Петру Чикина и сказал:

– А че он мне в лицо хвостанул. Я и осердчал.

– Он осердчал. Ну и находальник, разбойник, весь в тятку, – по-лошадиному заржал Петра, его сырое тело колыхалось, и живот тяжело вылился из портов, белый и огромный, с рыжей пуповинкой посредине.

– Он осердчал, ну ты таковий... Экий ты языкастый. Дак чей будешь? – не отставал Петра, но колени ослабил и ухо отпустил, а Яшке почудилось, словно отняли от лица горящую головню.

– Богов я...

– Ишь ты, Богов, значит? – Петрины глаза чуть прояснились, и в них родилась дальняя тупая мысль, похожая на воспоминание.

– Мне мамка сказала, что Богов я.

– Ну и ладно, хрен с нимо... пусть Богов... Видел, какую корову я твоей матке дал?

– Ври боле. До этого молока помереть можно.

– Да ну? – удивился Петра. – Смелой ты на язык.

– Смелой, – согласился Яшка, соображая, как бы лучше улепетнуть. – И matka баит, что порато смелой Ой, гли-ко, портки потерял, бабы хохочут.

– Где-где? – удивился пьяно Петра и ослабил колени, а Яшка выскользнул прочь, уже чувствуя свободу и торжествуя ее, но тут мужик опомнился, круто перегнулся и длинной корявой рукой подхватил мальчишку за штанину и потянул к себе, как худого теленка, заголя Яшкину костлявую задницу.

– Пусти-и, – неожиданно заверещал Яшка, предчувствуя беду и становясь самим собой, семилетним сиротиной. – Скажу matке, что забижаешь, она тебе бороду выдерет, козел вонючий. – Слезы рванулись неудержимо, и Яшка захлебывался в рыданиях не в силах уже оборвать и потушить внезапное горе.

– Ну че ты, ужо погоди, – растерянно бормотал Петра, не ожидая таких слез.

– Козел вонючий, кукушку съел, все скажу, – выл Яшка на всю улицу, распаляя свою душу и ожидая, что услышит его слезы мать и примчится на помощь. – Сиротину забижаешь, совести нету, – причитал Яшка, вспоминая материны присловья.

– Отпусти парня, что пристал, налил глаза, ничего уже не зрит, – выскочила на крыльцо Августа, хотела мужика по голове съездить, но Петра, по-медвежьки громадный, развернулся и рыкнул:

– Загунь¹⁷, колода пуста...

– Загунь. загунь, слова доброго не скажет, ирод пузатый, – запричитала Августа, скрываясь в притворе дверей, но тут в пьяный разум мужика пришла новая хмельная мысль, и он закричал вослед бабе: – Пива нам, пива сюда. Хошь пивка на солоде? Язык липнет с него, ли-и-пнет язык-от. Баба-то стерва у меня, ой, стервь, а пиво варит, варит пиво-то. Чево есть, тово не отымешь. Колода вислобрюха, ступа березова, наплодила одних девок... Последнюю то девку принесла как, я топор со злости схватил, дай, думаю, отрублю себе эту штуку. А она еще ревит, погоди, не руби, может, на что ли и сгодится. Ей, значит, сгодится, а парня принести не может... А хошь, Тайку отдам в жонки, расти быстрее. Пи-ва таш-шы, ступа березова, – опять закричал в полую дверь.

¹⁷ Загунь – замолчи, отстань.

Пиво вынесла старшая девка Евстоля, широколицая, носатая, поставила бурак берестяной подле отца и поскорее скрылась в избе.

– Наплодила уродин, – бормотал Петра, мусоля пьяными губами Яшкины щеки, все прижимая мальчишку к себе, а тот воротил лицо на сторону, задыхаясь пивным перегаром и смиряясь с такой оказией. – Ты не реви. Мужик ведь, а ревешь хуже бабы. Порку бы тебе задать хорошу за такие слова, ишь, обзывается как, скотина мала. Какой я тебе козел вонючий, я тебе Петра Афанасьич, слышь, ирод проклятый? – опять возвысил голос мужик, раскаляя пьяное воображение.

– Да, – захныкал Яшка, – сам бьешь дак...

– Бьешь дак, – передразнил Петра. – Ругатца будешь?

– Не-е...

– Ну то-то. Пива хошь?

– Не-е-е...

– А вкусно пиво-то, ох вкусно. За татку свою пригубь.

– Нету татки, Богов я.

– Ну-ну, леший с тобой, а ты пей, – все тише и напряженной бормотал Петра, пьяно наваливаясь к Яшке и заноса над ним березовый бурак. Тоненькая желтая струйка пролилась мальчишке на волосы, на лицо, и Яшка невольно подставил рот, потому что деваться было некуда, и стал глотать густое сладкое пиво, захлебываясь и сопя, и представляя себя мужиком. Пиво текло по рубашонке, залилось в портки, и когда невмочь стало Яшке, он, задыхаясь, замолотил Петре в просторный гулкий живот и обвис на коленях. Яшка услышал, как легкий огонь словно бы воспламенился в груди, головенка стала легкой и пустой, сразу забылись недавние слезы; мальчишку распирали смех, и он тонко хихикал, прижимаясь замурзанной мордочкой к лохматой Петриной груди.

– Ну как, вкусно?

– Ску-сно...

– То-то, еще хошь?

– Не-ка...

– Тогда поди прочь, сколотыш, – отпихнул Петра парнишку, сам запрокинул бурак, и пиво гулко и сыто полилось в его просторный живот.

Яшка поглядел, как пьет Петра Чикин, и хотел пойти к реке, но только ноги почему-то потеряли прежнюю упругость, стали слабыми ивовыми прутиками, голову стремительно вскружило, и понесло Яшку, как заправского петуха, на землю, потом он и вовсе потерял себя, лежал на спине и блаженно хихикал, дрыгая ногами.

– Слабак еще, а я хотел Тайку за тебя отдать, – хмельно бормотал Петра, осоловело водил глазами по улице, потом, будто гусиное перо, сунул Яшку под руку и понес угором в дом. Павла кинулась навстречу, разглядев кудрявую сыновью голову, сразу заойкала: как же это да что с ним? – а Петра только ухмыльнулся, скалил желтые лошадиные зубы: «Ну что разоряессе? Ну выпил мужик, подумаешь, велико дело».

– Дак какой он мужик, – причитала Павла, не зная на что и подумать и что предпринять. – Семей годок ребенку. Где он нахватался эдак, Петра Афанасьич?

– Чево не знаю, тово не знаю. Иду, гляжу, лежит парнишка совсем плох, лыка не вяжет. Подобрал, – говорил Петра, а сам ухмылялся, потом привалился на лавку, гулко икая.

Павла в холодных сенях, чтобы легче было сыну, бросила оленью постель, осторожно закатала Яшку, Господи, совсем лягушонок. Он лежал с закрытыми глазами и что-то свое говорил, поминая татку и Бога, порой искал узкой ладошкой материну руку и тонко звал: «Мамушка, где-ко ты?»

– Эво, сынок, я. Ну что же ты эдак по-худому, а? – Павла стояла на коленях, закинув над сыном плечи, и серая холщовая юбка плотно облила ее широкие нескладные бедра. Петре

в проем двери была видна ее неохватная спина и все тугое устойчивое тело, и неодолимое желание проснулось в мужике. Но он томился на лавке, словно бы не решаясь стронуться с места иль поджидая чего-то. А когда Павла пришла к печи и поднялась на приступок, развешивая мокрые сыновьи портки, Петра не сдержался боле, по-рысьи вскочил, неожиданно легко для его громоздкого, пьяного тела, и снял с приступка оробевшую бабу. Павла крутила большой редковолосой головой, все хотела взглянуть Петре в лицо, может, шутит мужик, но не могла, а только вяло повторяла, несильно поводя плечами и упираясь локтями:

– Ну, закоим так, Петра Афанасьич? Осподе, закоим так?

– Ты молчи, ты молчи. Жеребенка хошь? Дам жеребенка, лошадью будет.

– Осподи, Бога побойся, – испуганно упрашивала Павла, сонно покоряясь этой силе.

И уже потом, на лавке, измятая и выпитая, все повторяла недоуменно и тупо: – Боженька, пошто же так-то? Пошто же так-то со мной, за какие грехи? Осподи...

– Ты молчи, молчи только, я к тебе похаживать буду, – боязливым шепотом утешал Петра, чувствуя в себе непонятную жалость к Павле и странную неодолимую боязнь чего-то. И они еще недолго сидели рядом, удивительно схожие, как брат и сестра.

Часть третья

Глава первая

Вот и Аграфена-купальница отошла, когда коренья и травы целебные ищут, а Калины Богошкова все нет, как в воду мужик канул. Желтоволодая Тина и в Мезень наведася – весточку узнать, ведь слухом земля полнится, но и в городе не то обнадежили ее, не то огорчили, сказали только, что раньше Спаса мужиков с Матки ждать нечего.

Реву не реву, а жить надо. Трава грубеет, солнце сушит ее, уже метельник роняет желтые охвостья, и плешивик¹⁸ разделся. Ныне лето на удивление, после майских проливней все тепло да тепло стоит, земля уже не парит, и сухой слюдяной воздух над хлебами желт от солнца и непрозрачной пыли. Дорогая Гора опустела: мужики – на промысле, бабы – на лугу, и только стар да мал караульщиками в избах, только те и в дому, кто под стол пешим ходит да кто с лавки едва подымен. И желтоволодой Тине тоже пора на пожни, а она все чего-то еще ждет, время тянет, хотя сена метать самая пора. Ведь в хлеву две коровы да телица на зиму встанут, ну, правда, старуху комолую в осень забивать надо, а остальных животных да пятнадцать овец чем держать? «О-ох-ох», – горевала Тина, скучнея лицом, и заделье из рук валилось, ничего не веселило жонку, и голубые глаза потускнели, словно бы морозом подбило их, но медлила баба, все думалось ей, только она за реку, тут и Калина в дом. И Донька тосковал, улица не радовала его, потому что дружка закадычного Яшки Шумова нет в деревне.

Но однажды в самое утро приехал дядя – Гришаня Келейный, – и все сомненья разом решил, повелел собираться на пожни: и целый-то день желтоволодая Тина металась по избе, пекла хлебы погуще да пироги попостнее с треской и палтосиной, чтобы не плесневели на жаре – ведь на сенокосе то и поешь, что с собой захватишь.

Далеко богошковские пожни, считай, что на краю света. Не нужда бы, так за двадцать верст порожистой рекой век не поехал: только двое суток подниматься, а там уж человека встретить – настоящее диво. Тина в карбасе стояла, толкалась шестом, у нее руки выломило от такой работы. Река вовсе обсохла, вытончилась на перекатах, вила косицы среди глыбастых камней, обтянутых жирной, хвостатой зеленью, а по самым берегам коричневая ряска стояла, и во множестве среди бронзово-серых лопухов заманно влекли кувшинки.

Донька на носу на оленьих одеяльницах сидит, он как бы на подгляде, упреждает, что впереди да как бы на камень поперечный днищем не встать. Мать сказала, что Донька тоже работник, а он и рад стараться: порой берет веселко и загребает, норовя заглубиться покруче в прозрачную струю. Донька быстро устаёт и тогда отваливается спиной на бортовину и жалостно смотрит, как упирается берегом дядя Гришаня. Доньке видно, как над ним постоянно стоит черный живой столб: гнус, качаясь над мужиком, ноет, отыскивает прорешки в белой рубахе с чайными разводами пота, забивается под распахнутый ворот, куда не достает сетка накомарника. У дяди обгорелые кисти рук повиты толстыми жгутами вен, и на плече глубоко вдавился след от лямки, за которую и тянет дядя Гришаня. Доньке жаль его и завидно, он порой вскакивает на нос карбаса, готовый спрыгнуть на берег в жесткий перезревший осот, и хнычет: «Мам, я с дядей Гришаней». – «Сиди давай, я тебе покажу с дядей Гришаней», – одергивает желтоволодая Тина.

А речка петляет суземьем, из чащинников наносит жаром и болотистой гнилью, и душным запахом таежных цветов; порой густоперые ели выходят о самую воду, очерив руб-

¹⁸ Плешивик – одуванчик.

чатые змеистые корни. Тут берег обычно моховит и крут, он таинственно проваливается в непрозрачную воду, и редкие льдистые кувшинки стараются обойти это место стороной, выгибаясь на длинных мясистых стеблях. В такую черно-коричневую воду смотреть жутковато, из ее глубины часто всплывают один за другим глазастые пузыри, и Доньке чудится, что там, на моховом дне, сидит водяной, зубастый и мохнатый, как вывернутая овчина. Порой Донька устает смотреть, постоянное и ровное течение струй кружит голову, на мальчишку наплывает сладкое блаженство, и он засыпает, не замечая ни того мгновения, ни самого сна, пока лодка не толкается в берег. И Донька вроде бы и не спал, сам собой поднимает легкую голову и видит на берегу прозрачно-белый свет костра, мать, готовящую ужин, и устало опрокинутое в траву тело дяди Гришани.

Так же незаметно кончилась для Доньки речная дорога, когда лес посторонился и низкие бережины, матово-серые в предночном серебристом свете, подступили к самой воде. Вечернюю выть не готовили, а так и пали в траву, как пропащие лошади. Но на свежем воздухе часа за три взяли свое, без петухов, по внутренней душевной нужде, проснулись сами собой, когда солнце еще не заиграло над лесом и роса тяжело и студенисто влекла к земле заолодевшие цветы. Пока солнце не встало, нужно ловить утренние прохладные часы. Прямо из реки напились, попутно плеская на лицо и грудь, вздрагивали, приходя в себя, и тут же приценивались, с какого края начинать и как лучше валить застоявшуюся траву; потом друг за дружкой встали по самой середине поляны, где солнце раньше всего выпьет росу, и замахали горбушами.

И Донька азартно вступил в работу, срубая косой под самый корень жилистые дудки кипрея и белые султаны каких-то пахучих трав, похожих на корянки, и мохнатую кашку, и небесные колокольцы, в которых еще спали шмели; он махал горбушей, тяжело проволакивая узкое косое жало, словно тащил горячее железо плотницкой пилы сквозь сырую неподатливую древесину. Порою Донька скрывался по плечи и тогда барахтался в бешеном лесном травостое, как в стремительной воде. Он сразу взмок, порты набухли от росы и противно вязали ноги, потный жар окутал голову и закружил ее, заныли плечи, и обвисли руки, захотелось окунуться в реку и сидеть в ней, распылившись по-лягушьи. А мать словно бы забыла о сыне; спешила встречь наплывающему солнцу, вся укутанная паром, и вслед за нею плыли черные комариные облака. Желтоволосая Тина рубилась в зеленом омуте с покорностью, она не спешила, ибо знала, наученная жизнью, что спешить нельзя; порой отбивала осевшее полотно, и к Доньке убегал железный веселый звяк.

Вскоре Доньке заскучалось, он хотел побежать к матери, да побоялся получить тычок, и горбуша все чаще находила кочки и вырывала белые змеистые корни и желтую земляную прель, да еще эти комары слоем облепили плечи, насквозь прокусывая рубаху, так что не было от них никакого житья. И он сдался, рванул к балагану, где тлело кострище, разрыл золу, открывая мерцающие живые уголья, бросил вялой травы и желанно укрылся за пахучим жирным дымом.

Но вот и солнце поднялось, заиграло; ближний лес посветлел, оттуда потянуло прелью и кислицей; дикий лук, отпотев на речном берегу, запах терпко и дразняще; желтая солнечная вода словно бы пролилась на покос, и Донька не заметил, как из нее выплыли к балагану мать и дядя Гришаня. Потом они пили из берестяного бурака чуть горьковатую, припахивающую лесными травами воду, пили вкусно и долго, и по растресканной шее дяди Гришани скатывались светлые щекотные жуки.

— Осподи, хоть бы недельку эдак-то... Вот где конец-то свету истинный, — невольно выдохнула Тина, радостно озираясь. — Ну-ко, слей водицы, всю чисто выели нетопыри лешовы, — ругнулась без злобы, распахивая ворот холщовой рубахи и открывая опухшую, покусанную шею.

– Знают, где вашего брата пробовать, на свежее-то мяско кинулись, – сказал дядя Гришаня.

– Было свежее, да протухло. Лей давай да глаза-ти отвори.

– Через кровь и пот тянешь в рот. Наломаетесь, дак и поешь. Ох-хо-хонюшки. – И дядя Гришаня с этими словами неожиданно окатил бабу из бурака, а вода раскатилась по шее и под рубаху, на свободно опавшие груди и на ложбинку горячей спины. Тина вздрогнула, ошалело вскрикнула: «Тихо ты, лешак», – и, на миг забывая, что не родной мужик рядом, испуганно заобирала горстями воду с опущенных титек.

– Ну-ну, хватит, эка ты, чисто кобыла, – смущенно отвернулся дядя Гришаня. – Лньи-ко и мне водицы, весь чисто сопрел. – И он подставил бурую, потрескавшуюся шею, и Доньке от костра видно было, как вода отскакивала от нее, словно от елового старого корня, или копилась в глубоких морщинах, скатываясь на белое усохшее тело. И Доньке сразу стоскнулось по отцу, и он неожиданно спросил:

– Мама, а татушка скоро будет?

Тина вздрогнула, обернулась, распустила мокрой ладонью выгоревшие Донькины волосы, а в глазах, чуть тронутых инеем, снова проснулась притухшая было тревога.

– Утресь, как проснесе, и наш татушка буде...

– Ври-ко боле, – не поверил Донька.

– Ну-ну, – вдруг резко прикрикнула желтоволосая Тина, сглатывая неожиданные слезы. – Каши березовой захотел?

– Чего орешь на парня? – заступился дядя Гришаня. Он стоял у балагана и вычесывал серую посекающую бороду деревянным гребнем. – Орет на парня, сама не знает, чего орет. Вари выть-то давай, вон солнце на корню траву сушит. А мы пока по дрова...

Шел дядя Гришаня, западая на левую ногу, держался цепкой рукой за Донькино узкое плечико и бормотал глуховато:

– У тебя мамка-то всем бабам баба. Ты ее слушайсе.

– Я и не перечу.

– Во-во, на мати не жалуются. Да и кому, да и грех, Донюшка. До Бога высоко, до царя далеко, отец у моря в неволе, одна мати возле. Хочет – посекет, а хочет – помилует.

– А меня мати не секет, – похвастался Донька.

– И худо, что не секет, порато худо. От любви посекет, только ум поправит. А она жалеет, раз пары у тебя нету. У нас, у Богошковых, все на детишек обижены. У меня с бабкой сколько их было, считать забыли, а ни один вот не зажился, а потом и старуха убралась, оставила меня сиротеть. Тебя мати тешит, по-худому тешит. А тешеной, что до времени роженой, оба – не от Бога.

– Намедни мамка меня отшлепала, овцу одну на поскотине потерял, – признался Донька, ему вдруг не захотелось быть тешеным.

– Ну и хитрован ты...

– Не-ка, я простофиля. Мамка мне-ка говорит, простофиля, дак.

– В наш ты род, богошковской. – согласился дядя Гришаня. – Меня, бывало, старуха моя все срамила, пошто я тихой такой, будто корова комолая, всякий подоит. Заведется, бывало, покоенка, ругается, криком покорить норовит, все небо замутит. А я молчу. Немтыря ты, кричит, немко безязыкой, что у тебя, языка нету, отнялся, скажи хоть слово людское. Сяду вот на тебя да поеду по деревне людей смешить. И тут я смолчу, пережидаю, ни слова против, а скоро бабку мою хоть в долонь бери да жамкай, веревки с нее вей, такая податливая станет, ну мягше воску. Не разговорный я был, чего таить это дело, а нынче наговориться не могу. Вот беда-то настала, мелю и мелю, остановки-то никакой нету. Порой думаю, может, дикой какой я стал, одичал, человеческий вид потерял? Дак нет, выйду в деревню, покажусь,

вроде не бегут от меня. А вернусь опять, по избе поброжу, а кругом тайбола¹⁹ дикая, темень несусветная, хоть криком кричи, хоть зверем вой, никто не услышит. Разве зимой только волк в ответ: у-у-у, а я будто возрадуюсь, в потемь-то как начну из ружья обхаживать, аж засветит все, загудит. Только повалюсь, а он, волчище, треклятый, опять: у-у-у, я снова в одном исподнем за ворота. И так всю ночь позорюсь, и весело мне. Осподи, вот жизнь-то, не знаешь, что и хочешь. Бывало, все спокою искал, уйду в горки, в боры, где белку возьму, где куньку подловлю, и благодно мне...

Бродили Донька с дядей Гришаней долго, добыли из леса хонгу²⁰, ох и жаркие будут дрова, желтоволосой Тине на радость. Но пока волокли да разделявали на чураки, у матери и выть готова: житняя каша с коровьим маслом и котел чаю. Принесла еще Тина из тени берестяной пестерь с подорожниками и достала пирог рыбацкий с палтосиной. Корку твердую, как кожаные переды у сапог, рвали руками, но солонющей рыбы тащили совестливо, чтобы поменьше съесть, а поболе воды выпить. После житней каши долго чаи дули, выплескивая на сторону сваренных комаров, не по одной кружке опрокинули, сыто рыгали, закусывали пряниками медовыми: ради сенокосного зачина раздобрилась Тина Богошкова, ну как тут не покормить мужиков-работников.

С такой выти не грех бы и поспать, да не на отдых в комариную даль тянулись, дай-то Бог под самую ночь прикорнуть на один глазок. И так пойдет со дня на день, закрутится колесом до самой последней копны, и тогда только свободно глянешь и подивишься: осподи, да мы ли провернули всю эту тягость, а зароды, а зароды-то стоят, будто новые пятиалтынные, будто избы просторные, ветер их не подточит ни с какого боку, былинки не унесет, и под каждым кустышком ни одной косицы травы не качнет забытой – всю прибрали к рукам. Вот тут и вздохнуть бы, да нет, до ледостава только взад-вперед, вперед-назад на карбасах. Ведь сено на пожнях – это не сено, его зимой по тайболе не вызволишь, надо полрой осенней водой на карбасах сплавить; иначе мор коровушкам, висеть им на ужищах²¹ до новой травы или посередке зимы с присохшими хребтинами идти под нож. И такое бывало...

Под полуденным солнцем желтоволосая Тина ворошила граблями сено, Калину, мужика своего, поминала, где-то он там, живой ли в студеное море: жил бы в деревне, спокой-дорогой, и какая нелегкая его тянет, пѣхает во льды, на каменный остров. Все люди как люди, при земле живут, во своей семье, а тут бродяга бродягой – знать, приворожила его водяница морская, обманщица русалка ввела в ман греховный. Осподи, не дай погинуть мужику, заступись, вороти его в дома живу-здорову, не осироть сына моего, рублевую свечу поставлю во спасение, век стану за тебя молиться.

А Гришаня Келейный из черемухи волокуши под сено ладил, крепил вересковыми обвязками, чтобы гнулись они да не ломались, таких на целый век хватит. Порой за Донькой приглядывал – тот на речном берегу дикий лук рвал. Бездумно шевелил Гришаня тонкими губами, щеки присохли к деснам, опустел рот, что у малого, бормотал мужик себе под нос: «А что будет после-то, выпрошу у Господа», – и легкий ветер с далекой реки Шалони завывал сивую стариковскую бороду.

– Прости ты меня, осподи, ох-хо-хонюшки. Робь не робь, а все одно повалиссе в гроб. – Оглянулся Гришаня, присмотрел, куда бы поудобнее приклонить голову, накрыл лицо холстинкой, чтобы не напекло, и сразу захрапел, пугливо вздрагивая во сне черными растоптанными пятками. И где-то на третьем тяжелом вздохе поднял старик голову, будто и не спал вовсе, сбросил с тихо мерцающих глаз кровавой от комарья плат, хлопал себя по тощим

¹⁹ Тайбола – чащобный, дикий лес.

²⁰ Хонга – высохшая на корню ель.

²¹ Ужище – толстая веревка.

ляжкам. «Ох-хо-хонюшки, как же это я сподобился?» – сказал виновато вслух и, припадая на левую ногу, пошел кошениной, и зеленые кузнечики весело посыпались из травы.

Сено таскали допоздна, черемуховые ручки гнулись от тяжести и выскальзывали из ладоней, плечи дрожали, острые лопатки Гришани Богошкова совсем выперли из серой от пота рубахи, и когда он приседал на левую ногу, у Тины каждый раз пугливо и жалостливо вздрагивало сердце. Ей все казалось, что вот-вот мужик завалится на бок, надорвется, а там беда, куда с ним денешься, и Тина, запыхавшись, окликала:

– Гришаня, вздохнем хоть чуток. Позоримся хуже скотины.

– Карюху бы сюды, мигом справились.

– А кто пригонит?

– Если бы Калина, дак.

– Если бы, – со вздохом откликнулась желтоволосая Тина, взглядываясь в деверя, Тот лежал пластом у подножия стога, кусал былинку, вернее, теребил ее съеденными деснами, и какое-то доброе удовольствие, мало похожее на усталость, жило на его запорошенном сеною пылью лице.

– Вот как понять, куда все это девается? – вдруг сказал дядя Гришаня, поворотив черное от загара лицо, на котором светлые глаза казались житными спелыми зернами. Потом переждал чуток и снова повторил, ни к кому не обращаясь, разве только к своей душе: – Вот куда все это девается?..

– Ты о чем, Григорей? – беспонятно переспросила Тина, подумывая, что пора подниматься, хватит, належались, уж и ночь на пороге, а ей еще ужин готовить.

– А все вот. К лешевой матери. Вон облак куда-то гонит, не по своей же охоте бежит. И эти деревья не веком же здесь стояли. Что-то, знать, было туточки и тоже девалось. Ну да Господь с има, ох-хо-хонюшки. – И дядя Гришаня заскрипел горлом. – Укатали вошки Бога. Это меня то есть.

– Окстись, чего говоришь, Григорей? Грех ведь, – испуганно одернула деверя желтоволосая Тина.

– А бывает и грех, да не про всех. Чево такое сказал, чтобы пугаться? А может, Бог вошку укатал, нажился, говорит, хватит, копчушка старая. Раз работать не замог, ложись и помирай. Ох-хо-хонюшки. – И вдруг весело закричал, задрав черное лицо, отыскивая племяша: – Донька, отца не зришь?

– Че-о, где-ка? – вроде бы не расслышал Донька, а сердце зашлось. Он только что лежал в зарode, думал о дружке закадычном Яшке Шумове, где-то он сейчас, и следил в пустынном небе за одиноким розовым облачком, похожим на шкуру весенней лисицы, которое утекало куда-то неслышно и безвольно. А внизу, под стогом, о чем-то мерно говорили мамка с дядей Гришаней; их голоса доносились до вершины зарода, как шорох неторопливого ручья, и сыпили Доньку.

– Че-о, дядь Гришаня? Че сказал?

– Тятьку не зришь, говорю? Глухня...

– Полно тебе парня задорить, – ткнула Тина в бок деверя.

– Ну, ну, ладно, – примирительно сказал Гришаня, набирая на вилы сено.

И только Донька под самым небом крутил рыжей головой, как желтопузая синичка, взаправду отыскивая взглядом отца и не находя его, и сердце крохотным кулачком билось в ребра и просилось вон.

– Где-ка? – уже отчаянно закричал Донька, вцепился рукой за шершавый стожар и скатился на самый край зарода.

– Ополоумел? Не свались, – испуганно спохватилась Тина.

– Ништо, крепче будет. Эй, Донька, шевелись, исправник едет, – подзадорил Гришаня и ворох душного кусачего сена бросил на мальчишку, утопил его с головой в терпкой глупине. – Топчи его пушке, екмамкарек, – все кричал дядя Гришаня.

А Донька, выбираясь из вязкого наплыва, разгребал сено руками и, проседая по самую шею, добрался на вершину зарода уже молчаливый и грустный. Он понял, что дядя Гришаня его надул, и ничто сейчас не веселило мальчишку. Донька лениво утапывал зарод, оборачиваясь вокруг соснового стожара, сглатывал непрошенные слезы и мокрыми оплывшими глазами еще ловил дальнюю поречную сторону, где круто обрывалась тайга, уступая место травянистым лывам. Оттуда, с той стороны приплыли на лодке Донька, мать его – желтоволосая Тина и дядя Гришаня, оттуда мальчишка ждал и своего батяню.

Небо там было тускло-серым и постаревшим, словно бы посекшимся мелкими тонкими морщинами; гребни елей казались пугающе мрачными и черными, и уже нельзя было разглядеть на опушке леса пожухлых от жары малинников, в которых прятались полчища перезревшей крапивы и надутые крапчатые жабы, а по ночам там кто-то тяжело и пугающе ворочался. Донька пристально смотрел в эту густую таинственную синь, где сейчас правила всякая нечисть, и ему вроде бы почудилось, как зашевелились кусты малинника и оттуда показалось мохнатое чудище.

– Нечистая сила, – закричал заполошенно Донька, наливаясь непрошеным страхом. – Леший тамотки, чур-чур. – И он опрокинулся в зарод, закрыл голову руками.

– Донюшка, сыночек, осподи, да что с тобой? – крикнула снизу мать.

– Балуется, чего боле, – сказал напряженным голосом дядя Гришаня и тут же обернулся и посмотрел в поречную сторону, расслышав твердую и частую поступь. И у старика волос на голове стал колом, но мало ли на своем веку повидал дядя Гришаня всякой нечисти, потому скорехонько осенил себя крестом и шепнул: «свят-свят, сгинь, нечистая»: ведь никого не ждали в такое позднее время на самом краю света. И только у желтоволосой Тины отчаянно шевельнулось сердце, потому что о мужике своем она непрестанно денно и ночно молила Бога, и тут, расслышав частую и твердую поступь и мокрые всхрапы, она сразу подумала: «Осподи, не Калинушка ли ко мне едет».

И она приставила ладонь козырьком и, отчаянно отмахиваясь другою рукой от надоедливых комаров, напряженно вгляделась в размытый тусклый свет и решительно побежала навстречу по склону еще не обкошенной холмушки. И еще не видя никого толком, она уже твердо знала, что это Калина ее едет на коне, потому как бабье сердце вещун. И путаясь в захладевших под вечер пониклых травах и умиряя больно занывшее сердце, Тина уже не бежала, потому как неожиданно ослабили ноги, а все тише пошла, потом и совсем остановилась. А лошадь плыла в траве, и семена овсюга прилипали к мокрому брюху. Лошадь фыркала и чихала и в неярком белом свете наступающей ночи казалась заиндеветшей. Верховой не понукал кобылу, не торопил ее, они, видно, оба устали за длинную дорогу, и разом увядшая Тина не могла признать ни мужика, ни белой в черных подпалинах лошади. Потом легкий побережник набежал с речной стороны, всколыхнул устоявшиеся травы, живая синяя тень сдвинулась от лесной опушки навстречу Тине, и седая лошадь стала темно-рыжей в белых подпалинах, и услышала баба такой до боли знакомый голос: «Ну копошись, зайчиха. Эй, люди, здорово работали». И узнала Тина чуть надтреснутый мужний говор, ибо только Калина обзывал кобылу зайчихой за ее длинные уши, и, замораживая в себе грудной стон, еще не веря своему счастью, она позвала негромко:

– Калина, это ты?

– Ну-ко, на-ко, баба своего мужика не признает...

– Слава те Богу, вернулся терящий.

И когда карюха поравнялась, сбивая грудью белые пахучие цветы, Тина прижалась лицом к мокрому, заляпанному дорожной грязью голенищу бахилы и сразу отстранилась,

недоставало еще, чтобы кто видел, пусть и свой, как она мужика обнимает, а потому ухватилась за стремя и пошла рядом с лошадьё, часто всматриваясь в смутно белеющее лицо Калины.

– Это ты? Ну и слава Богу, – повторяла Тина устало-счастливым голосом.

– Каково разживались без меня?

– А, какое тут житье, горе мыкали. Без мужика в доме что сироты.

– Ну-ну, – споткнулся Калина и замолчал, словно не зная, что спросить-высказать. Его качало в седле и до тошноты хотелось спать. И когда он сполз животом с рыжухи, разминая ладонями колени, Тина сразу заметила, что неровно подбитые в кружок волосы на голове у мужика сбелели, словно первая пороша. Калина молча обнял брата, прижался к его сухой щеке, сына Доньку скупно и устало обмахнул ладонью по волосенкам и сразу сел в стороне, подальше от огня, словно бы таясь и прикрыв глаза.

– Вымотала дорога? – спросил Гришаня, непривычно суетясь у костра, вороша мохнатые от пепла угли и подживляя огонь хворостом.

А Калина не ответил брату и опять уклончиво спросил, словно бы ему не хотелось говорить о себе:

– Ну каково разживались? Сенов дивно наставили?..

– Мы-то слава те осподи, Христом спасаемся.

– Ну и лады, ну и лады.

– А я все гляжу в зальвы, и сердце мое стоскнулось, – сказала Тина, смахивая со щеки счастливую слезу. – Вот чую сердцем...

– Вот и свиделись, вот и сви-де-лись, – тут Калина неожиданно поперхнулся, замолчал сразу, словно бы утонул, повалился тихонько с чурбака, широко раскидывая по земле чугунной тяжести руки с глубокими трещинами шрамов. Тина ойкнула, подскочила к мужику, подумала, что помирает он, а Калина-то спит сладко, по-ребячьи почмокивая губами. «Эх тебя укатало», – сказала желтоволосая Тина, нагнувшись над мужем, под голову сунула клок еще теплого сена, чтобы пришли добрые сны, сама еще недолго посидела подле, вглядываясь в белое, совсем неживое лицо, по самые глаза обросшее сивой бородой. Вот когда совсем сравнялись братовья и обличем и летами. «Ой, сердешный, ой, соколик, умучило как. Знать, несладко пришлось, досыта нахлебался морского рассолу». И Гришаня Богошков словно расслышал тайный причет невестки, откликнулся от костра:

– А не нами сказано: без моря горе, а с ним вдвое. От моря едят, от моря и стареют. Эй, Тинка, от радости сыты не ходят. Мужиков кормить надо.

– Дак спит ведь.

– Поспит – да и встанет. А про нас и не сказ?

– Ой, что это я, – совсем ополоумела, глупая баба. Сейчас, что ли, сготовлю, а вы тут тише шиньгайте. Донька, отпахнись от отца, дай ему поспать. Поди в полог-ту, полежи, пока я быть сготовлю.

И Донька послушно залез в балаган, повалился на оленьи постели головою к выходу, чтобы все ладом видно было: и костер с веселым морошечным огнем, и мать, совсем черную в ярком горячем свете, и похожего на сиротливого кулика дядю Гришаню, посунавшегося на чурбачке, и раскинутое тело батяни с неживым острым лицом. Наверное, уже переломилось за полночь, потому что у недалней сосны, одиноко вросшей в поляну, посерела чешуя; трава на пожне шелковисто светилась от созревшей росы, а вдаль над щетиной леса уже начинало наливать желтизной покатое небо. И ночь быстро закатилась, едва успев народиться. А Донька еще расслышал, как глухо на дальнем плесе кинулась щука, где-то мокро всхрапнула лошадь и за пологом в лопухах завозилась зорянка, прочищая горло. Потом еще показалось Доньке, что он не спит, а по-прежнему смотрит на костер, на черные длинные тени от матушки и дяди Гришани, а на самом-то деле он уже давно спал счастливо и легко.

Когда желтоволосая Тина сготовила запоздалую выть и хотела скликать мужиков, то звать было некого, всех сморил сон. Жонка сняла котел с огня, поставила в стороне и накрыла его холстиной, чтобы не нападало комарья, потом стянула с головы повойник, и желтые с житним отливом волосы тихо раскатились по плечам. Тина еще шально качнула головой, мутной от литой усталости, тупо посмотрела на розовеющее небо, еще подумала, что скоро пора вставать, а мужика надо бы перетащить в полог, иначе натянет с земли хворь, и с этими мыслями подошла к Калине, чтобы разбудить его. Она совсем нечаянно прильнула головою к его груди, словно хотела послушать сердце, а оторваться уже не было сил.

Но потом, видно, шея отекала, занемела, шевельнулась Тина, беспamięтно приподнялась, чтобы ловчее повалиться снова, и тут увидела, что утро совсем проснулось, легкие дымы курятся от просыхающих трав, и вот-вот солнце встанет. «Ой, спяха, ой, засоня», – выбрала себя, легко ладонью огладила неширокие плечи Калины, еще подумала про себя: «Пускай поспит, не буду тревожить, а деверя поднимать пора». Земля выстыла за ночь и была холодной от росы, и желтоволосая Тина не раз замирала сердцем и содрогалась от прохлады, пока спускалась к реке, а отходила с берега осторожно, высоко заткнув юбки и щупая воду босою ногой. Но вода оказалась мягкой и ласково-теплой, будто щелок, лицо, остывшее за ночь, едва слышало ее прохладу, словно парным молоком поливала себя Тина. Выпрямилась, собираясь выйти на берег, но чуть замешкалась, почувствовала в себе необыкновенную легкость и вдруг заметила радостным взглядом то, отчего давно отвыкла, может, с самых детских лет. Словно мелкие рыбешки, толклись в ногу тонкие струйки воды, огибали колена и сразу же звонко сливались воедино, потом, шурша, пропадали в осоте, шевеля его жесткие перья. Еще дальше посмотрела Тина, в самые верховья, где река делала крутой поворот: там вода казалась необыкновенно скользкой, почти ледяной, и, не задевая ее, как бы сами собой стояли ровные столбы розового пара, незаметно истаивающие в просторном атласном небе. Порой словно бы из этих столбов опадали вниз беззвучные камни, и тогда по недвижной реке расходились широкие круги. И ничего не подумалось Тине, но только словно бы что ворохнулось в душе и сделалось бабе истомно и дрожко, так что морозные пузырьки вскопчили на загорелых руках.

Вдруг на той стороне задрожали кусты ивняка, и, проваливаясь меж осотных высоких кочек почти по самое пузо, вымчали лошади, а следом, по живым неустойчивым моховинам, будто боясь замарать ноги, прыгал мальчишка, совсем голый. Неожиданно он икнул горлом и, едва коснувшись руками гнедой лошадиной спины, сел над самым хвостом, как на широкую лавку, звонко пришлепнул ладонью и вонзился сухими пятками в отпотевшие широкие бока. Гнедуха всхрапнула и, разбрызгивая зеленую грязь, поскакала зайцем через осотные кочки, потом опала в реку крутой грудью, окутывая себя и мальчишку пеленой прозрачной солнечной воды.

– Господи, да чей это? – забеспокоилась Тина. – Утонет ведь, лешак.

Приставила ладонь к глазам, но признать парнишку не смогла, потому что утренняя река застила глаза. Но тут снова задрожали кусты, словно промчались там испуганные звери, оттуда появился громоздкий, расхристаный мужик в одном исподнем, за него цеплялась руками простоволосая баба, путалась в ногах и что-то причитала бессвязно. Высокие осотные кочки сбивали дыхание, и рыхлый мужик скоро устал бежать, по колена в воде остановился, потрясая кулаком.

– Вернись-ко, сотона, дак убью! – зычным басом кричал он. – Воротись-ко, сколотыш... Воротись, не задюю. Ей-Богу, не задюю, только лошадь-ту пожалей, – вдруг взмолился он.

– Яшенька, сыночек, воротись, – причитала простоволосая баба. – Петра Афанасьич тебя не задиеет. Он крест дал.

А мальчишка не слышал мольбы, он сидел на лошади маленькой коричневой ящеркой, лупил ее по бокам кулачками и жестокими пятками, гнал вдоль тенистого берега, готовую вот-вот свалиться в мутную, закрученную воду и захлебнуться в ней.

— Ма, да это же Яшуха Павлин, — не веря глазам своим, сказал за спиной у желтоволосой Тины заспанный Донька. Она и не услышала, как встали ее мужики и сейчас толпились позади. — Ну и находальник, — завистливым дрожащим голосом добавил он. — Яш-ка, я здесе-ка, приедь к мине, — радостно закричал Донька пронзительно-чистым голосом. — Яш-ка, я тута.

Нетерпеливый Донькин голос всех смутил и заставил замолчать, и Яшка Шумов, а это был он, вздрогнул от неожиданности, перестал всхлипывать и шмурыгать носом, обернулся, и тут гнедуга, просевшая ногами в промоину, споткнулась, окунула в реку по самые уши длинную гривастую морду, а Яшка не усидел на широкой, потной ее спине и скользкой рыбиной плеснул в осотах. А утро зарождалось ангельски тихим. Даже на этом берегу было слышно, как, задыхаясь и проваливаясь в тягучий ил, бежала Павла Шумова, и было похоже, будто мимо провели мыльную, загнанную лошадь. Павла за мокрые волосенки вытянула ошалелого сына на берег, дала по острой заднюшке хорошего звонкого шлепка и поволокла в кусты. А Петра Чикин ласково умирал задохшуюся гнедугу, хлопал ее по дрожащей, упругой шее, вытирал рубахой оскаленную морду. Потом скинул исподники и, не скрывая наготы и широкого своего брюха, побрел по мелкой воде, чтобы окунуться, но выше колена трудно было сыскать глубь, потому что русло тут делало петлю и прижималось к другому берегу, вырыв там омута.

Тина смущенно отвернулась:

— Вот лешак, хоть бы стыд-то прикрыл.

— А ты гляди пуще, небось соскучилась, — сказал, подсмеиваясь, деверь, а рядом с ним стоял Калина и оглаживал длинную бороду, побитую серебром.

— Ой-ой, — всплеснула руками Тина, побежала к кострищу, расшевелила покрытые пеплом угли, навесила на деревянные крюки котел со вчерашней вытью, каша даже не успела выстыть.

— На ханзинские пожни сел? — спросил Калина у брата, кивая головой на ту сторону.

— Слыхал я краем уха, будто два ведра водки поставил. А сход и за ведро был согласен, лишь бы на дармовщинку выпить. Уж кой год травные места пустуют. А ему что, он и у черта кушак стащит.

— А ты-то как там, небось блазнит? — спросил Калина, намекая на братнево одиночество.

— Живу в своих Кельях да от леших отмахиваюсь.

— Помрешь, дак и схоронить некому будет.

— А уж так. Это верно дело...

— Дак перебирайся к нам, не стеснишь, — вдруг смущенно и глухо предложил Калина.

Но Гришаня промолчал, словно бы не расслышал Калину, ушел от ответа.

— Ну, а ты-то как, оклемался? Вчерась как прибыл, так пластом и пал.

— Вроде ожил. Ожил вроде, — сухо рассмеялся Калина.

— Не нами сказано: кто в море не бывал, тот и горя не видал. Помнишь, Калинко, татушку? Придет, бывало, с моря, кается: веком ноги моей в море не будет. Не то в воду, а к воде не подойду. И почнет деревья валить, пожоги делать; только бы навину²² пахать, а он как затоскует-заболеет. Вот и побежал опять в Мезень к мещанам наниматься. А где лежит нонь, один Бог ведает.

— А мне уж в море не бывать. Зарок дал, — вдруг сказал Калина.

²² Навина — расчистки в лесу.

– Не зарекайся, брательник. Не мы правим собой, – возразил Гришаня, смутно жалея брата и догадываясь о какой-то смертельной беде, случившейся в полуночной земле, но расспрашивать не стал: поведает, как время тому придет, когда горестно ожжет душу и станет невозможным молчать более и мучительно захочется освободить память от воспоминаний.

Впервые после года разлуки сел Калина Богошков во главе трапезы и, прижав туго замешенный ржаной каравай к груди, сначала нюхнул хлебушко, клоня седую голову, потом ловко и бережно разрушил его на длинные ломти, сложил горкой посреди холстинки, а горбушку подал сыну.

– Ой, Донюшка, у тебя жонка-то будет горбата, – засмеялась Тина, опять готовая плакать от радости.

– Горбата, да богата. Ничего, Донька, от горбушки набирают силушки, – хитро утешил дядя Гришаня.

И только Калина Богошков молчал: хмурая тень набегала на длинный желтый лоб, и тогда жестко сдвигались брови, но тайная улыбка тревожила губы, покрытые белыми пятнами, и Калина улыбался, не раздвигая рта. Ел он тихо, словно стеснялся или не замечал никого, осторожно волочил деревянную щербатую ложку с кашей, подставляя под нее хлеб, жевал долго и бережно, и сухие щеки тогда глубоко западали. Однажды Калина забылся, что-то хотел сказать или поперхнулся, но раскрыл широко рот и показал черные пустующие десны, будто век не бывало у мужика зубов. Тина заметила это и сжалась вся, словно удавили ее, но виду не показала, из котла еще подложила каши.

– Ешьте понажористей, – прикрикнула она на мужиков. – Теперь уж до вечера не есть. Ты-то, Донька, чего ленишься? Ведь каков у стола, таков и у стога.

– Я нынче на карюшке ездить буду, – откликнулся Донька.

– Езди-езди, Бог с тобой, а завтра и сести не сможешь...

– Не замогу. У меня с прошлого лета мозоли.

– Атаман ты у нас, – сказал дядя Гришаня. – А ты сам-то, Калина, каково себя слышишь? Может, до полудня полежишь в тенечке?

– Когда лежать-то? – раздраженно откликнулся Калина.

– Ну, да как знаешь, – готовно согласился Гришаня. – Горбуша направлена, травушка ждет.

– Ма, к Яшке спусти когда ли, – неожиданно заканючил Донька, когда мужики ушли на пожню, а мать еще замешкалась у одинокой сосны, развешивая на длинных голых суках мокрые вехи.

– Не канючь, робить-то кто будет?

– А когда спустишь?

– Отвяжись, чего выдумал. Поди, лошадь прибери, – не слушая толком сына, оборвала разговор желтоволосая Тина. Она неотрывно приглядывала за мужиком, как шел он от балагана мимо сосны по еще не просохшей отаве, оставляя за собой черные неровные следы; как потом скрывался в дудках-падреницах, в небольшой калтусинке меж пониклых ив; как появилась белым одуванчиком в диком травостое его седая голова, и на солнце вскоре сверкнуло лезвие горбуши и раз и другой... И только тогда, будто решившись, Тина горестно вздохнула, оправила синий костыч из ткани, закрывая обгорелые, саднящие от воды и солнца ноги, откинула накомарник на плечи и пошла следом за мужем. И теперь уже Донька глядел в спину матери, пока она не исчезла в калтусине, а когда ее не стало видно, подбежал к одинокому дереву, где мать просушивала свое немудреное хозяйство, и почему-то стал плакать. Он ревел в три ручья, беззвучно шмыгая коротким круглым носом и прижимаясь щекой к горячему шероховатому стволу. Потом он так же неожиданно перестал плакать, отколупывая ногтем рыжие чешуины, запрокинул голову; там, где-то в самой вышине, шумела голубоватая вершина, и в жилистых иглах всегда жил теплый ветер. Он качал длинные упругие

ветки, и от них по всему стволу шел тихий звон, и сыпались иголки и чешуйки. Донька приложил ухо к дереву, послушал, как поет оно, сразу забыв о своем непонятном горе, и, жигая себя ивовой вицей, побежал отыскивать карюху.

А Тина подошла к мужу неслышно и встала поодаль за увядшим ивовым кустом, на котором лист свернулся в трубочку от долгой жары. Ей было хорошо видно, как наотмашку рубился Калина с загубелой травой, горбуша часто втыкалась в высокие, скрытые овсюгом кочки, и тогда мужик матерился, тоскливо озираясь. Но Тина все так же таилась за кустом и, прижавив мужа, шептала: «Ну отдохни ты, чего маешься». Ей бы хотелось подойти к Калине, окрикнуть неожиданно, прижаться к его груди и говорить ласково: «Осподи, кровиночка ты моя, за што так-то. Ну пошто ты бежишь от меня?» А она вот робела почему-то и пряталась, словно бы чужая. И вдруг Тина услышала пересохший голос и не сразу поняла, что это Калина ее зовет.

– Эй, Тинка, чего таишься? Поди до мужика-то, – позвал он хрипло и удивился, что так трудно и неловко давались ему первые ласковые слова, вот ведь как озверел-одичал в своем море. – Ну поди, поди ко мне. Эка ты, мужика своего не признавать? – говорил Калина все торопливее, глотая слова, и невольно отмякал душой и чувствовал, как в нем просыпается наконец такая желанная радость встречи, что от нее пересохли губы и стало трудно дышать. – Ну поди, поди ко мне, ужели забыла? Эка ты, – говорил Калина уже шепотом, а сам гладил, гладил нетерпеливыми дрожащими руками горячие и податливые бабьи плечи. – Ужель забыла, а?

– Осподи, чего мелешь? Забыла... Как только язык повернулся такое сказать, – легко заплакала Тина, уже в который раз за нынешнее утро. – Сам приехал вчерась, ровно чужой, в глаза не смотрит. Осподи, жи-вой ведь...

А вечером, когда легкий туман выстелился над водой, с другого берега приехал гость. Сначала что-то шуршало и фыркало на той стороне, потом уключины скрипнули совсем рядом, и с весла звонко пролилась вода; у костра сразу все притихли, настороженно повернулись к реке и ожидающе смотрели, как из молочного тумана показался смолевой нос лодки-осиновки, а на корме сидел, обвалившись, мужик, весь в белом, угласт и велик, словно глыба весеннего льда. Еще с реки этот мужик закричал басовито: «Эй-й, хозяева, хлеб да соль. Здорово вечеряли», – последним гребком весла разогнал лодчонку, да так, что она залетела в осоты и на пологий травянистый берег, и Петра Чикин, а это был он, вышел к хозяевам посуху, даже ног не замочив. Был он в легких чунях, шитых из телячьей кожи, порты заправлены в короткие голяшки, и каждой порточины хватило бы обернуть вместо юбки Тинку Богошкову; рубаха холщовая, сопрелая в подмышках, навывпуск и без опояски. Никто не поднялся навстречу Петре, не захлопотал, и он сам подошел к огню, оскальзываясь на влажной отаве стоптанными чунями.

– Бог в помощь. Да тут и хозяин сам, а сказывали – потонул, – и Петра протянул короткопалую толстую ладонь, всматриваясь в Калину, и его глаза на обожженном солнцем безбровом лице горели зеленым кошачьим светом. – Ну, здорово, што ли, хозяин, – повторил Петра Чикин уверенным голосом, словно был здесь давножданным гостем, но ладонь смущенно и растерянно дрогнула.

И Калина Богошков, приподнявшись с земли, торопливо сунул навстречу длинную сухую руку:

– Ну, давай поздороваемся, если не с камнем за пазухой.

– Чего говоришь-то? Да кто старое помянет, тому глаз вон.

– А кто старое забудет, тому оба долой, – ехидно напомнил Гришаня Богошков.

Но Петра проглотил намек, решив умом, что лучше не ссориться более.

– Довольно сенов-то наставили? Я, грешным делом, помыслил: раз дом без хозяина, надо бы пособить чем. Мало ли чего было, да былшем поросло, а теперь, слава те осподи, сколько лет прошло... Небось опять богатства-то навез?

– Навез, – согласился Калина. – Дивно навез, до смерти хватит.

– Ишь ты, ловок... Тут уж так: иль на воз, или с воза. Мы корячимся, корячимся на земле на матушке, света белого не видим, сыто не едим да хорошо не спим, а тут на тебе: сбегал в море – и пан. Ну, Тинка, разоденет тебя мужик в шелка-бархаты.

– Разодену, – согласился Калина. Но отчего же хмурое облако накатилося на его лицо?

– А други-то как? – страшно завидую, спросил Петра.

– А никак. Нету других-то, – тихо ответил Калина, и был он сейчас лицом столь бел и страшен, словно только что из земли достали человека. – Бог прибрал. Всех прибрал. Всех. А это видел, на, гляди, гляди на богатство, – и Калина задвинул пальцы в рот и широко распылил бескровные губы, открывая черные пустые десны. – Ы-ы-ы, – наклонился над Петрой, гыкая юродиво в самое лицо и брызгая слюной.

– Ну ты, Бог с тобой, – испуганно отшатнулся Петра, А Калина уже задирает порточины выше колен, показывал иссохшие ноги в синих покойничьих пятнах:

– И тут богатство, и эво.

Желтоволосая Тина убежала в полог, уткнулась в постели и тихо завывала:

– Осподи, да за что же его эдак.

Донька забрался к матери в изголовье, утешал, гладил спутанные волосы, сам готов разреветься:

– Матушка, не надо...

– Хватит тебе выть-то, ну! – крикнул раздраженно Калина. – Осподи, ну не вой же, и без тебя тошнехонько.

– А ты не покрикивай, ты не покрикивай, – вступился за невестку Гришаня. – Никто тебя не неволил, на цепи в море не тянул. Сам свою судьбу выбирал. Расшумелся, с ним худо, его не тревожь...

– А ты кто? Гли-ко, люди добрые, посмотрите на него, он пасть открыл, – распалился Калина, теряя разум и бессмысленно оглядываясь вокруг. Голова у него кружилась, и мужик толком не мог разглядеть даже, кто сидит подле. – Убирайтесь! Чего вам нать от меня, чего нать? – яростно кричал Калина. Непонятная злоба сдавила горло и мешала дышать, и он вбивал кулаки в землю, пока кровь не проступила на козонках. И, разглядывая разбитые пальцы, Калина словно бы очнулся, увидел себя со стороны и тогда повалился боком, прижимаясь щекой к заолодевшей истоптанной траве:

– Осподи, дай силу не потерять разум...

Гришаня понял, что с братом неладное, отбросил прочь обиду, обнял Калину за плечи, стал гладить по жестким седым волосам бережно, будто малое дитя.

– Ну что с тобой, Каля? – уговаривал Гришаня. – Ведь эким ты никогда не был. Ты откройся нам, сними тягость с души.

– Да и то правда, полно тебе убиваться, – поддакнул нерешительно Петра Чикин, подумывая умом, как бы ловчее убраться отсюда. – Вот уж воистину сказано: выстрелив, пулю не схватишь, а слово сказав, не поймаешь.

Тут и Тина смирила плач, вышла из полога, стала у кострища возиться, разживила огонь, чтобы чаю нагреть. В разговоры она не вязалась, не дозволено ей, бабе, соваться в мужские дела, как-нибудь сами разберутся. Но с Калины глаз не сводила, думала: ей бы только наодинку с ним остаться, приголубила бы она мужика, утешила – и открылся бы он как на духу, и оттаял бы сразу.

Все невольно замолчали, Калина сел, отвернувшись, и положил голову на острые коленки. Было смутно и тихо, маленькая, болотного цвета луна, так похожая на подкову,

прорезалась посреди неба и родила вокруг себя крохотное озерцо света. Где-то туго плеснула рыба, может, билась она в Гришаниной верше; потом откликнулся кулик, он икал долго, захлебнувшись сиротскими слезами; вдали над синим изломом матерого леса вспыхивали белые молнии, – знать, где-то шла гроза. И в этой смутной душной тишине особенно звонко и назойливо нудели комары.

– Хотя бы дождя не пало. Дало бы сена закончить, – нарушил молчание Гришаня. – Вот и темнеть стало, осень подкатывают на дождях.

– Теперь как бы убраться отсюда поскорей, – Охотно откликнулся Петра, искоса поглядывая на понурое лицо Калины. – Уж и не рад, что забрался в экую даль, пожадился. И с сенами-то напозоришься, а потом и достать-то не знаешь как.

– Потные сена-то, не одна рубаха на них сопрет, пока возьмешь. Дак тебе все больше других надо. Опять мужиков-то надул, эки богатые пожни за ведро водки выбил.

– За два ведра, – поправил Петра, – а нынче хоть даром отдам.

– Отдашь ты даром, держи карман шире. Работники-то кто?

– А Павла со своим сколотышем. Извел меня, изгильник, нынче лошадь чуть не угробил. Поймал бы о ту пору, сразу убил, и все. Дак опять мати жаль.

– Да как не жаль, живой ведь. От кого парня-то нашла?

– Поговаривают, от Степки Рочева, беглый матроз тут околачивался, с Няфты сам-то, оттудова родом.

– Я, может, и мати его знаю? – стал припоминать Гришаня.

– Да все может быть, как не знаешь-то. Дак он, паразит, – бабу Ханзину с девкой порешил. А изба и поныне пустая. Хотел я ныне в избе остановиться, что ни говори – жилье, дак не мог своих девок туда затянуть. Ревут обе, страшатся, что бродят покойницы каждую ночь. А чего им бродить, давно уж и косточки истлели... А страшно... Уж на что я мужик, а и то...

– Как не страшно-то, экое смертоубийство. Уж на веку не забудется, – согласился Гришаня. И тут заметил, что сзади племянник притулился, развесил уши. – Донька, кыш, не тебе экие разговоры слушать.

– Я тихо, дядя Гришаня, – захныкал Донька. Хочется ему про Яшкиного татушку послушать.

– Беги в полог, чего сказано, а то вицу схлопочешь. Неслух, – пригрозила мать, а с нею плохо спорить.

И Донька поплелся в балаган, но повалился у самого лаза, печальный и хмурый, подоткнув кулачком лицо. Хотел было отцу пожаловаться, да раздумал, притих: и оказалось вдруг, что в сумрачной тиши каждый звук слышать далеко. Куда-то луна провалилась, – знать, застлало ее лохматым мокрым облаком, небо затемнилось, и отсюда, из балагана, огонь костра казался живым красным зверем, а люди – совсем чужими, угловатыми, и от них на лужайку ложились длинные страшные тени. У Доньки от страха спирало в горле, он боялся даже оглянуться назад, в сумрачное жилье балагана, где стояли укладки со всякой утварью. Казалось, что там обязательно сидит хозяинушко, смотрит на Доньку розовыми глазами и точит о свои копытца острые желтые ногти.

– Ма, – опять захныкал Донька, думая разжалобить матушку. Но та нынче была сердита.

– Не канючь, вот дитя народилось. Сладу с ним нет, – пожаловалась мужикам, села подле Калины, положила ему руку на плечо. – Ну хватит. Господь с тобой, – стала утешать шепотом, чтобы не расслышали у костра.

– Ваш-то золото. У Павлы совсем отбивной паренек. Ему бы только налить да напроказить, – сетовал Петра. – Намедни палец мне прокусил насквозь, волчонок. Во-во, – стал показывать всем толстый, грязный палец. – Насквозь прохватил, волчонок.

– А Павла, та робить может, за двух мужиков робит, – перевел Гришаня разговор на другое. – Ей бы мужиком быть.

– Уж не похую. Робь, говорю, Павла, жеребенка дам.

– Ты дашь, ты вон какой, – опять нечаянно подковырнул Гришаня и снова смутил мужика.

– Я ведь только снаружи такой, я больней... Вы-то чево в эдакую даль перлись? Что вам, в Кельях сенов не хватит? Сенцо-то там, прости Господи, сам бы ел: мелконькое, суходольное, а запашина от него, ой. Коровушки от одного запаха молоко гонят рекой.

– А ты не сюда ли заришься? – вдруг догадался Гришаня. – Ну ловок, ловок, соседушко.

– Бог с тобой, экое придумаешь. Я вот о чем раздумался. Ломишь, ломишь, дня-ночи не знаешь, а потом пук – и все. Досками обошьют да в землю спрячут, чтобы не вонял. Вот и нажился. А мы все корячимся, миром жить не можем. Пошто не можем?

– Лукавый бес в дырку от пуговицы залез, а его и зашили. Тоже хитрей хитрого хотел быть, – сказал Гришаня, никак не веря Петре. – А смерть че, от нее не сбежишь.

– Михайло Тазуй как помирал, донага разделся, все кричал: «Жить хочу, осподи, жить хочу», – неожиданно заговорил Калина тусклым голосом, словно бы проснулся внезапно. – Жить-то хотел, порато хотел, а Господь вот прибрал. Такие дела, – опять замолчал Калина, всматриваясь невеселыми глазами в огонь. Розовое от пламени лицо его было горестно.

– Кажись, засиделся я. Духотища-то, уф. Как бы не полило, наставим тогда сенов, – сказал Петра Чикин, тяжело приподнимаясь, становясь сначала на колени.

– Оставайтесь, оставайтесь, Петра Афанасьич, чайку с нами, – запоздало предложила Тина.

– Да какой чай на ночь глядя, – отказывался Петра.

– Вот странно все, ох-хо-хонюшки. Иной из трусливой породы живет девяносто годков, а из храброй породы человеке – на двадцатом падет. Ежели помыслить так, вроде бы по разумению Божьему: храбрый сам свою смерточку ищет. Но отчего по-иному получается: иной из трусливой породы да в самом благополучии, можно сказать, под боком у бабы своей на двадцатом годке скапутьется, а храбрец – ломан-переломан, Господи, места на нем живого нету, и чуть ли не до века тянет. Тут и есть Божье провидение, и знать его нам не ведомо, – так долго и невнятно бормотал Гришаня Богошков, вглядываясь в брата выцветшими глазками и подслеповато мигая.

– Как думать о смерти начнешь, значит, нажился, – напомнил Петра. – Боженька знак тебе дает, не иначе.

– Типун тебе на язык, чего мелешь-то, Петра Афанасьич? – одернула Тина, вмешиваясь в мужской разговор.

– Мы перед Покровом-то будто очнулись... да, будто очнулись, мяли как лошади хорошие. А знатье бы, дак, а? Ужели бы я? Я-то за кормщика, глухарь сивый, здоровье-то все на море ухвостал. Поворот земли знаю и течение воды, а тут, эх! – вдруг тихо начал говорить Калина, теребя ладонями обтерханный понизу зипунишко: жонка сзади набросила на плечи, ночи-то студеные, долго ли захворать, а потом не один раз спокаешься. – Промысел-то как шел, дак спали, где приткнет ночь, досыта не едали горяченького, а устали не знали – ведь работали в душевное удовольствие. Мы-то на стану, на острове были, еще наш татушко там промышлял, а остальные-ти в Митюшихину губу ушли, на другой стан, чтобы не мешаться. А перед Покровом очнулись мы, как птица начала на крыло подниматься и вода-то на море засалилась. Нет бы раньше, я-то, я-то, глухарь сивый, до старости ума не нажил, – и Калина горестно забрякал кулаком по колену. – Вот уж воистину, Бог ума не дал – дак не займешь. В бане намылись, мне бы сразу хватиться: пошто наши с Митюшихиной губы к нам не попадают, да к ним спешить, а я, дундук, переждать-погодить решил. Тако бы дело нынче, дак травки бы под себя подстелил.

И так не дождались мы котляного карбаса, знать, грех там какой вышел, неведомо нам. Но только в какое-то утро выскочил я из избы, и Боже ты мой, на море ни слезинки, верите, будто всю воду выжало и кругом белее покойницкого савана: все море лединами забито, и ветер-полуночник²³ садит с Матки, ну силы нет, как садит. Тогда-то я пал на камень и заплакал: понял тут, что крепко надо молиться Богу, чтобы выжить до нагорных ветров²⁴.

А еды-то у нас никакой, зимовать не помышляли, что было – приели. Потом и солнышко-батюшко укатилось до весны, на Веденьев день и ошкуй²⁵ перестал хрипеть, в снега залег. Мы избу обрыли кругом, чтоб тепло сохранить, а дровец-то, прости Господи, топишь да прижаливаешь, только сальничек трещит день-ночь: как одна плошка выгорела, значит, день миновал, другая кончится, значит, ночь умерла. В избе запашина, морозина садит, самое светопреставление, конец света, и только вот и лежишь в постелях в малице²⁶ да в тобоках, подольше не встаешь, чтобы поменее дровец тратить. А проснессе, волосье-то к изголовью примерзнет и оторвать не можешь.

И еще раз я тут согрешил: надо бы мне мужиков толкать, тут первое дело ходить надо, а я дровец прижаливал, вот и запустил это дело. А как стал с нар стаскивать, их уже лень долить начала. Они, двое-то, еще Михайло Тазуй был, солонинки поедят, потом воды напьются, – ведь с соленого всегда на воду гонит, – вот и стали они пухнуть. Я поднимать, а они ни в какую. Я гиган на улице сделал, ну бегать вокруг него; горку ледяную залил – нака-таюсь, набегаюсь, с меня дурь-то на вольном воздухе выпрет, а зайду в избу, там душина – из горла воротит, а они еще лежат да нахваливают, больно им хорошо.

А я умом-то думаю: ой, ребята-ребята, до могилы своей поступочкой идете, сами на себя руку кладете, коли пластиной лежите дохлой. И тут стал замечать, что Тимоха нет-нет и затоскует, среди ночи проснусь, будто ревет кто; крикну: живы ли кто? А Тимоха замрет, будто голодная кошка, и не подаст голоса. А ведь чую я, что плачет он. А однажды и говорит он нам: ой как мяса оленного хочу, так бы и попил крови-то горячей. Я тут было как приволоку утельгу, пейте, говорю, кровь – с нее и спасетесь, и некоторый пить не хочет, рыла воротят. Впервой на зимовке-то, а к тюленьей крови привычка нужна.

Я Тимохе-то: какие, говорю, олени? А снега лютые были, вповал шли, я и думал, что олени на материк свалились²⁷ иль на горы поднялись, где моху выбить можно. А Тимоха не послушал и ушел, да и вроде совсем пропал. Потом в потемни приходит, оленя волочит. Тут крови-то мы напились, возрадовались, мяса сырого с ножа поели, и к утру Тимоху мутить стало, – знать, не приняла душа строганины. Вечеру жаловаться стал; пятки у него заныли – это уж первая примета на цингу, потом жилы скрутило, он, парничок, и ноги ладом вытянуть не может.

А однажды плюнул, так, осподи, одна чернота со рта, будто сажи печной наглотался, десны распухли, кровь идет, зубы сами собой выпадают, и никий хрен их во рту не удержит. То все был Тимоха толстой, а тут сразу вытонял, кощей кощеем, под глазами черные пятаки, а на Крещение и руда изо рта хлынула. Он подозвал нас и тихо говорит: «Наробился, знать». А я ему отвечаю: «Пошто, Тимоха, на себя наговариваешь. Ты пошто себя заживо-то хоронишь?» А он: «Вот чую, как за мной пришла смертушка». Ишь ты, он смертушку свою в обличье видел. Тут Мишка-то и сдался, по-худому заревел, не помирай, говорит, Тимоха...

Ночью гроб сколотили, ну, известно, какой там гроб, одно прозвание: из сенец от стенки доски оборвали да сшили на живые гвоздочки, чтобы хоть держалось да предать можно было

²³ Полуночник – ветер с северо-востока.

²⁴ Нагорные ветры – южный, с материка.

²⁵ Ошкуй – белый медведь.

²⁶ Малица – верхняя одежда из оленьих шкур.

²⁷ Свалились – ушли.

земле по христианскому обыкновению. Под утро и у меня пятки стало крутить и тяжесть на душу взошла, бабу свою увидел: вот стоит перед очию, будто живая. Ох-хо-хо... Схоронили мы Тимоху, снегом закидали, полагали так, что весной, как мать – сыра земля отойдет, тогда и спрячем покойничка.

А на Оксинью-полузимницу солнышко на дальних берегах заиграло, еще не выкатилось, но ровно следочек свой оставило, и душа-то возрадовалась сразу, будто жизнь пережилась. И светло стало после экой темнотищи, сальничек часа на два загасили. Снег слепой стал, у меня и глаза подбило, саднит веки, слеза горячая бежит, щиплет, на щеках-то борозды выело. С неделю ничегошеньки не видел, с черной тряпицей на очах сижу, а Мишка подле лежит, уж по-худому жалуется, от него дурнотой потянуло, заживо портится человек. На великий день Благовещенья, любовный у Господа праздник, надо бы церковные стихиры петь, солнышко славить, а Мишуху не поднять, лежит пластиной дохлой. Я ему как бы заместо няньки, и самого-то карачун долит, впору бы на коленках ползать. Еды какой-то сварганил, покормить хочу, а он вдруг и завопит, Бог ты мой, как завопит, что меня мороз по коже продрал: «Калинушка, я помираю» Я к нему-то кинулся, говорю, что ты, Михайлушко, Господь с тобой, какие слова дурные баешь, пошто ты на себя смерть накликаешь, а смотрю, он уж совсем плох. Да тут его как корезить начало, так, бедного, и гнет, так и катает по постелям. Потом вдруг и скочил, стал платье с себя срывать, нагишом по нарам бегать да на стены кидается, по бревнам кулаками колотит. Я реву, его на нары укладываю и пособить с ним ничего не могу, такая у него вдруг сила взялась. Тут Мишка и стал кричать: «Осподи, жить-то хочу. Не хочу помирать. Врешь, Господи, я еще поживу, поживу...»

Тихо стало у костра, только слышно было, как не то сморкался, не то плакал Калина; сухо потрескивал костер, разбрасывая малиновые угли, да где-то погромыхивало над суземом, и небо нет-нет да вспарывали белые сполохи. Вдруг в котле вскипела вода, выплеснулась в пламя, и кострище сердито зашипело, потянуло на мужиков горечью. А комар совсем одолел, знать, услышал дождь, и на голове у Петра Чикина уже взялась откуда-то холстинка, которою он укрылся по самые глаза. А Калину теперь не остановить, прорвало запруду, и слова-то в самом горле стоят, ими задохнуться можно.

– Сгорстал он мою ладонь, да и не отпустил, так и помер, я и глаза не успел ему закрыть. Значит, пригласил меня за собой; и мертвый, а не отпускает. Едва руку-то свою достал. Теперь, умом-то думаю, мой черед. Хотел домовище сколотить, а сил нет, подле покойника привалился, вроде бы в беспамятье ушел, не знаю, сколько спал, но только от страха очнулся. Привиделось во сне, будто Мишуха мне глаза ладонью закрывает. Очнулся я, а он лежит подле, уж совсем заколел. Ну и поволок его в сени. Он хоть и высох от болезни, а костью тяжел. Три раза отдыхал я, пока до сеней дотащил и уложил за сальные бочки.

... На улицу-то выкатился, осподи, а там благодать. Вешний Никола пришел, по черным камням водица торопится, и солнышко уже не на корточках, а во весь рост выстало. Я не стерпел тут, закричал, как увидел такую благодать, и жить захотелось неистребимо. Ведь весной только глупы люди пропадают. И с трудом-то великим стрелил я гуся, потом супу наварил, навару попил, а мяса жевать не могу, совсем зубы во рту не держатся: сколько в силах, поглотал кусками, на том моя выть и закончилась.

А много ли человеку надо: горяченького внутрь спустил, и уж совсем другой вид. Потом травку стал собирать, на южных сторонах кислушка родилась, сырком жевал. Однажды в озерцо глянул, осподи, совсем дикий человек отразился, и себя я не признал, вот до какой степени дошел. Но знал по старинному поморскому правилу, что лежачего человека и мышь рушит, и все чего ли через силу да копошился. Камнями покойничков обложил, крест в изголовье поставил, карбасок направлять стал, а сам глаз с моря не снимаю, откуда товарищи должны прибежать. Так со дня на день жду, и опасение в голову пришло: не иначе случилось что. Парусок раскинул и побежал в Митюшихину губу. Слабость долит, правило

держат не могу – дремлю, а очнусь – когда парус всхлопает. Ой, не приведи Господь это богатство. Порато солоной хлеб, впополам со слезами. Не зря присловье ведется: хвали море, а сидя на берегу у моря, жди горя, а от воды беды.

На пустынное прибежище правлю я с Христовой молитвой, подумываю: мужики, знать, паруса подшивают да борта конопатят, в самый срок прибегу. А в Митюшихиной губе я промысливал, не один сезон стаивал, разволочную избу²⁸ лично перекрывал; только никто меня не встречает, и собака не взлает, и дымком с той стороны не потянет. Потом и карбас наш, промысловый, на глаза пался, на полуводе стоит, и прибой его по-худому треплет. Ну, думаю, однако, и здесь печаль.

На берег-то поднялся, нежилым веет, за избою кресты стоят, вроде бы их позапрошлым летом не было: вот, думаю, здесь ребята успокоились. Дверь в сени закидана снегом, едва на брюхе прополз, словно веком здесь люди не жили, столь запущено все. В избе с потолка сосули висят; на постелях, с головой накрыт, лежит покойник, – знать, и сил уж не стало схоронить его. А за столешней я подкормщика своего нашел; стоит на коленях и молится. Ну, мыслю, хоть один живой, да на радостях-то его по плечу хлоп, а мужик-то и пал на бок. Знать, на поклоне ко Христу-спасителю и помер. И остался я тут совсем один.

Шесть раз на Матку плавал, всякого приходилось видеть – и худого и хорошего; и на ледине замерзал, и ошкуй-то рвал меня, метин наоставлял, и с карбасом вместе тонул, похлебыв морского рассола, но экой беды не случилось, чтобы на острове одному пооставаться и всех своих товарищей схоронить... И стал я тут крепко винить себя, уж хотелось пасть и не вставать. А солнышко палит, снег ручьями скатывается, мои товарищи покойные все выталяли, на камнях лежат, и стал я их по новой в землю-матушку прятать без церковного благословения. Всех схоронил, а сам вот живу. Прибежала вскорости мезенская лодья, подобрала. И стал я по обеим слободам ходить, по вдовам-то, да объявлять, эх... – И замолчал Калина, сглотнул горький комок, сухими больными глазами обвел мужиков.

– Ну-ну, не кали себя. – ободрил Гришаня. – Раз погинули, дак своею смертью Знать, судьба. Они как бы на долгий отдых повалились чтобы потом когда ли опять встать. А тебя Господь не принял, и не виноватый ты нисколько.

– Да-а, – протянул Петра, посмотрел на небо, обложенное синим мраком. Оттуда редко накрапывало.

Глава вторая

К себе Петра вернулся уже впотемни. Зарядил дождь, еще мелконький, но сердитый, и в заречье погрохатывало, – знать, кончилось вёдро. У полога потоптался, освободился от лишней воды и, тяжело пыхтя, волоча животом по земле, прополз в полог. Три девки спали посередке: Евстоля, Манька и Таиска (малюха, а тоже на сенокос навязалась); в другом углу Павла Шумова с упырем своим. Глянул в тот угол, вроде бы показалось в темя, как остро зыркнули шальные Яшкины глаза. «Ой, надо было кнутом ожечь хорошенько, ой, память бы осталась. Матке спасибо скажи», – мысленно пригрозил, широко заваливаясь на оленью одевальницу. Свободно вздохнул и размягченно зевнул до слезы в глазах: «Ох-хо-хо».

– Петра Афанасьич, может, чайку? – вдруг подала голос Павла.

– Лежи давай. Кто на ночь чаи пьет, глупа баба, – нарочито сердито окрикнул Петра, в душе чувствуя к Павле жалостливую доброту. Еще подумал: не баба, колода, что вширь, что вверх. «Господи, где у меня глазищи-то были, на такую-то березовую ступу позарился». Так подумал, а в душе ласковость ворохнулась, захотелось приласкать бабу, но вспомнил нынешнее утро, сердито опрокинулся.

²⁸ Разволочная изба – промысловая изба зверобоев.

– И то правда, Петра Афанасьич, – запоздало и робко откликнулась Павла, – наверное, все это время вглядывалась в Петриную сторону, но ничего не рассмотрела и тоже стала укладываться, чтобы укурнуть до рассвета хоть одним глазком... «Нет, Петра Афанасьич, вы не прогадали, что попросили меня в помощь, я за двух мужиков выведу, я на работу порато лютая. Только жеребеночка-то дайте, как обещали, и заживем мы с Яшенькой, как бары, с коровушкой своей да с карюшкой, чего нам тогда больше и нать. Своего-то счастья не дадено, так от чужого хоть кроху урвать».

Прижала к себе плотнее сына, словно боялась утратить его, тот тихо и тепло сопел в щеку Павле, и бабе было щекотно и радостно от Яшкиного дыхания. Спит чертоломина, убежался. Вот тоже своенравный какой. И нать было ему в ту пору по нужде иттить, а может, и следил за маткой, экий чертеночек, всю напугал. И по сию пору гак и знобит, как в пролубь окунули. Ой, Петра Афанасьич, грех-то какой творим. Люди-то прознают, мне тогда в монастырь иттить, до самого смертного часу грехи замаливать.

Вспомнилось утро, суматошное и грешное. Осподи, думала, прибьет Яшку, столь диким стал Петра, дак и то сказать, напугал – хуже некуда, откуда только черт его вынес. Да Бог милостив, милостив Бог-от, все устроилось, опять тихо-мирно все. А ты-то, кобыла стоеросова, хороша тоже, на старости лет сбеленилась, одной науки мало, еще от тех розог рубцы на спине не заплыли, какой белены объелась, Паш-ка-а? И ничего поделать с собой не могу, ничего. Вот бы сей миг окликнул тихохонько – эй, Павла, подь-ко сюда, и пошла бы, как покорная собачонка. Знать, судьба такая моя. Охо-хо-нюшки... Прости рабу свою, не дай по миру пойти с покаянием, вовек буду молить живота твоего.

Повернулась на другой бок, а сон нейдет. Какие-то мысли грешные лезут и представляется черт знает что, стыд один. Утром у варницы стояла, она ведь раноставка, ей черт какой-то спать не дает. Еще заря не проклюнулась, а уж за водой сбегала да выть заварила, чтобы по первому солнцу всех поднимать. И он-то, Петра Афанасьич, таков же, от одного дерева коренье: еще вода в котле не вскипела, выполз сердитый, мятый весь. Да и то сказать, ломит за хорошую лошадь, по копне мечет, у него и устали-то нет, дал Господь Августе мужика, как за каменной стеной живет. Ей ли бы не радоваться, дак попрекает еще – толстой, мол, да брюхатой, а сама-то, прости Господи, расплылась сама себя шире.

Прислушивалась Павла, что за спиной Петра Афанасьич творит, и сердце обмирало. Вот на реку сбродил, фырчал там, будто тюлень, за версту слышать, потом вернулся, встал подле, но молчит: последнее время все будто чужой. Ну и слава Богу, что чужой, доколе грешить. Смешно началось, дак пусть хоть не срамно кончится. Набаловался мужик, насытился, своя-то баба теперь скунее будет.

А она-то, а она-то, срамина, волосье седое на голове, глянуть страшно на экую образину, а еще чужих мужиков улещает, – кляла себя Павла, мешала мутовкой кулеш, а сердце постанывало от неясной обиды: почто Петра Афанасьич и словом-то с нею не перемолвится.

– Петра Афанасьич, какво спалось? – не выдержала, спросила. Тыльной стороной руки отерла мокрый лоб, лицо едва обжарилось на солнце, и над носом вперебор вылупились мелкие веснушки, бровки льняные выцвели, распушились над радостными глазами. Глядит Павла на Петру Афанасьича, и люб он ей, ой как люб, и не видит она его выпученных кошачьих глаз, ни безбрового обгорелого лица, ни его круглого, необхватного брюха, едва прикрытого рубахой.

– А снилось, будто всю ночь с бабой на лавке катался...

– Ой ли, ой ли, а с кем это? – ревниво спросила и в сторонку от варницы ступила, словно бы зазывала мужика. А утро желтое, все высвеченное солнцем, комар скатился в болотины, и на холмушке легко дышится, вольно под легким шелоником.

– Вот тебе и ой ли, – вспыхнули зеленые Петрины глаза, и любопытный интерес пробудился в них. Подумывалось: заманивает баба, ишь разохотилась как, небось жжет все – и

водой не залить. «Тут-то бы мне поостеречься надо, в такое-то время все беды следом льнут. А, один грех замаливать...» Пошел к копнушке, уже не глядя на бабу, запустил руку по самый локоть, ощутил шершавый жар, клочок длинного грубого сена вытянул, нюхнул жадно широким растяпистым носом.

– Посмотри-ко сенцо-то, – крикнул Павле.

Та приставила ладонь к глазам, чтобы разглядеть мужика.

– Гли-ко, гли-ко, сенцо-то...

– Да не время глядеть-то, Петра Афанасьич, – все поняла Павла, а еще упиралась. – Кулеш подгорит, и девки вот-вот встанут, – договорила уже шепотом, уговаривая себя опомниться.

– Да ты подойди только, эка ты, – уже сердился Петра, нетерпеливо переминаясь за высокой копнушкой, из-за которой торчала его большая редковолосая голова.

– Иду-иду, вот пристал, – ворчливо откликнулась Павла, со страхом оглядываясь на полог. Ведь чуяла сердцем, какое сенцо идет смотреть, казнила себя, а ноги будто сами собой несли ее к копнушке...

– Охо-хо-нюшки, – еще простонала Павла, досматривая минувшее утро, но тут усталость взяла свое, и, не слыша себя, ушла в сон баба. По другую сторону, будто ломовая лошадь, тяжело всхрапнул Петра Афанасьич, тоненько, по-синичьи, засмеялась Тайка, а в туго натянутый верх полога упрямо барабанил дождь, и особенно глубоко, до маеты в костях спалось людям в такие ночи.

И только Яшка не спал и редко мигал, рассматривая в сумерках материно размякшее лицо. Он слышал, как пришел Петра Афанасьевич, как чесал обширное свое брюхо, как спрашивала его мать, и все ожидал, что вот-вот мамка встанет и выйдет из полога, и потому быстренько смекал, как ему тогда поступить. Сейчас, вспоминая увиденное утром, он маялся душой, уже смутно догадываясь, что между мамкой и Петрой есть что-то запретное, и ему, недоростку, это знать не велено. Еще тем несчастным утром он, заспанный, не в силах продрать глаза, выскочил за полог по нужде, глянул кругом, нет ли возле матери, куда-то девалась; и в пологе пусто, одни девки разметались, храпят, коровы, из ружья не пробудишь. Только пристыл за пологом, вдруг услышал за спиной шорохи и вскрики, догадался, что шумят за ближней копешкой, и тут же на плохое подумал, не с мамкой ли что случилось, – может, давят ее. Стремглав кинулся за копешку, на ходу надергивая портки, и сразу в глаза бросилась взлохмаченная материна голова, а поверху Петра Чикин, ихний хозяин, и он вроде бы мамку душит. Яшка с разбегу вскочил на Петрину спину, схватил за шиворот, дернул на себя и закричал: «Не бей мамку, ирод, не бей мамку».

А дальше Яшка совсем смутно помнил: кажется, Петра ущучил его своей клешней, больно прижал к себе, мать, с растерянными и перепуганными глазами, лежала, откинувшись на копешку, и дрожала, не в силах сказать слова. «Ах ты, сколотыш», – хрипло шептал Петра, и Яшка вплотную увидал его зеленые страшные глаза. Извиваясь лягушонком на толстом Петрином колене, он умудрился прокусить мужику палец, и пока Петра ревел от боли, Яшка бросился прочь куда глаза глядят, ближе к речке, а может, и утонуть там. В такой растерянности он мчался к воде, слыша сзади глухой настигающий топот, и тут на глаза попали лошади... Но Донька помешал. Не Донькин бы голос, Яшка ни за что бы не свалился с гнедухи, его тут и подпорой не сшибить. Он бы показал этому брюхану, как мамку бить. Но почему же она не плакала, не звала Яшку на помощь? Наверное, рот зажимал ей, иначе бы мамка кричала.

Пристально вгляделся в материно лицо, показалось, что оно улыбалось во сне. «Мамка, почему у всех есть тятки, а наш пропал?» – вдруг захотелось спросить Яшке, ведь ему так тяжело жить без отца. И он приготовился растолкать мать и посреди ночи устроить допрос, но Павла неожиданно отпустила парнишку и мягко засмеялась. Яшка никогда еще не слы-

хал, чтобы так тепло смеялась его мать, она обычно молчала, или плакала, или устало грози-лась, и потому мальчишка даже поднялся на колени, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но в пологе стало совсем темно, мерно брнчал дождь, с луга доносило сыростью, и Яшка ничего необыкновенного не разглядел в смутно белеющем лице матери. Мальчишка поежился, укладываясь потеплее в оленьей полости, но из памяти не уходило минувшее утро, и, не в силах успокоиться, он грозился в темноту: «Я те покажу, как мамку бить. Дай-ко только вырасти».

Но упорно не спалось, и он высвободился из окутки, тихо скользнул в самый угол, отвернул низ полога, где был тайный лаз, и, вглядываясь в серый дождливый полумрак, подумал: «Убежать, што ли? Вот реву-то будет». Он еще протянул ладошку навстречу дождю, мокрая трава скользнула по руке. Яшка вздрогнул и утянул руку обратно. Потом, нюхая набухшую влагой холстину, полежал подле, но с воли доносило сыростью, и оттого вскоре стало зябко и тоскливо. И мальчишка залег обратно в одеяла, прижался плотнее к мамке, просунув ей под мышку руку, быстро согрелся от потного родного тепла и, слушая вполуха балаганные шорохи, тревожно уснул.

Пробудился Яшка позже всех – растолкала мать: «Вставай, засоня, выть проспишь». Яшка приподнял голову, сразу посмотрел в дальний угол, подозрительно поглядывая за Петрой, но тот уже сидел, поджав калачом ноги, пластал у груди каравай и не обращал внимания на разбойника. Яшка сразу успокоился, сердито сказал матери:

– Могла бы и раньше поднять.

– Да жалко ведь. Так сладко спал...

– А сена-то кто ставить будет? – взросло спросил Яшка, оглядывая девок.

Евстоля, плосколицая, с мышинной косичкой по спине, въедливо хихикнула: «Работничек-то, девки, гли-ко». А Петра Афанасьевич только глянул исподлобья в Яшкину сторону, хмыкнул, но промолчал.

– Какие сегодня сена. Уж сиди давай, – откликнулась Павла. – Дожжа-то навалило, осподи. Необоримая сила. – И она быстро выскочила из полога, притащила котел с вытью. Петра довольно оглядел Павлу: словно шьет баба, минутки без дела не усидит.

– Ты-то давай садись. Не служанка, бат, да и мы не господа. Могли бы девки сшевелинуть задницу, – неожиданно сказал Петра, и девки все, от Евстоли до Тайки, разом повернулись к тятке и глянули на него любопытно... Экое чудо, экое чудо, такого с тяткой не случалось, он и с мамкой-то по-людски не говорил. И Павла смутилась, по-девичьи покраснела лицом.

– Вы-то ешьте, а я уж после. Много ли мне нать.

– Я что велел? – прикрикнул несердито Петра, и Павла, радуясь всем сердцем этой ласковости, подчинилась просьбе.

– Ну ладно, разве что с крайчику примостюсь.

Петра первый погрузил ложку в житную кашу, все покрестили лбы и тоже потянулись к котлу, но старались мясо не забирать, на то будет своя команда. Да и Петра зорко присматривал за дочерними ложками и при случае сразу охаживал по лбу, да так, что слезы выскакивали из глаз дробью, и после долго не хотелось мяса. И словно играя над хозяином, Яшка дерзко заискал ложкой в кулеше и подобрал там кусище и медленно поволок к себе. Девки запнулись. Тайка тоненько пискнула, все взглянули на тятку... Ой, достанется нынче Яшке, ну и поделом ему, охальнику, пусть не перечит. Девкам проходу не дает, все одни проказы. Тайка даже зажмурилась, словно своим лбом чуяла, как звонко прилипнет сейчас ложка к Яшкиной голове. Но Петра Афанасьич поперхнулся, сурово глянул в Яшкину сторону, сначала хотел, видно, окрикнуть, но сдержался. И Яшка победно оглядел девок и еще плотнее уместился на согнутых ногах, но, странное дело, только мяса ему сразу расхотелось, да и не ахти какое мясо – летошняя солонина с душком, едва зубы берут. Все смолчали, за вытью

грех языком молоть, но в Яшку нынче словно бес шальной вселился. И сказал он Петре Афанасьичу разбойно, кругля непросветные глаза:

– Ты мотри, мамку мою больше не колоти...

– Не будет, не будет он меня трогать, – вздрогнув, торопливо откликнулась Павла и пугливо глянула на Петру Афанасьевича.

А тот неожиданно подался к котлу, побрякал ложкой по медным стенкам и сказал: «Волочи». И все потянулись за мясом, возя ложкой по дну, и сразу забыли про Яшку.

Под утро балаган пролило – и место сухого не найти: накинули на плечи кто армяк, кто одевальницу мехом внутрь, сидели скучные и злые, как вороны. А дождь монотонно кропил с набухших небес, и казалось, краю-конца ему не будет. Петра Афанасьевич и тут заделье себе нашел, лапти с подборами вязал, глубокие, в косой стежок; такие мокроступы, что в каждую две Яшкины ноги влезут вместе с цыпками и мозолями на пятках. Девки, укрывшись оленьей полостью, хихикали, щекотали друг дружку под мышками, порой высовывали мокрые потрескавшиеся ноги. Павлу, ту и дождь не усадил, то и дело елозила на коленках из полога да обратно, пестрядинная рубаха почернела от сырости, бедра, обтянутые крашениной, мокро блестели, и с облизанной дождем головы текли на спину ручьи. Такова Павлина забота: пускай на улице и мокрядь несусветная, но и живот – не амбар, пустым не закроешь, все чего-то требует туда затолкать, хоть и век не работай, лежа лежи, а значит, и быть готовь ко сроку – ко времени.

Яшка поскучал, к девкам нынче не лез, свяжись только с ними – заревут, руготня подымет, спасу не будет; тут вспомнил о Доньке, в самую бы пору навестить его. Еще дедов коричневый кафтан, как раз Яшке до пят, запахнул потуже, затянулся шерстяным пояском.

– Ты куда сряжаеессе? – остановила мать. – Эка неволя была в такую погодушку бежать.

– Пусть охолонет. А то горячий больно, – подал голос Петра, и холодная усмешка потревожила зелень глаз. И уже вдогон крикнул: – Коней понаведай, работник, как бы не забрели куда.

– У балагана будь. Экий несговорный растет, – добавила мать. И, уже выползая из полога, Яшка еще слышал, как говорил Петра Афанасьич: «Секчи парня надо».

– На-ко, выкуси, – высунул Яшка в сторону балагана язык. – Своих нарожай, тогда и секи.

Он поежился, когда тугая капля, скатившись с березового листа, упала за шиворот, потоптался на скользкой блестящей отаве, привыкая к прохладе; пальцы сразу покраснели, низы портов почернели от влаги, и вода собралась под ступнями крохотной прозрачной лужицей. Было тихо, ветер не шевельнул листа на деревьях, трава, еще не взятая горбушей, поседела; редкие, будто свинцовые дождины лениво летели с обложного неба, и легкий парок вставал над загустевшей рекой. Костер едва курился, и от него горько воняло сырым углем. Яшка плюнул на головни, побежал к воде, нарочито твердо ступая подошвами, и тогда меж пальцев пырסקали дождевые струи. Он выскочил на берег, на то самое место, куда вымчала его вчера напуганная лошадь, но грязь уже заплывла от долгого дождя, толстые листья куги распрямились и встали со дна на красных жилистых стеблях, и ни одного-то своего следочка не отыскал Яшка. И ему стало так грустно, словно отказали в самом желанном. «Вот вырасту и убегу, все одно куда. Ужо погоди», – беззлобно погрозил Яшка в сторону своего балагана; над которым путался лохматый костровой дымок.

Противный берег речушки был смутно виден.

– Донька-а, где-ка ты? – сипло крикнул Яшка, проседая ногами в тягучий ил. – Донька, – позвал он еще раз.

Напротив, за серой пеленой дождя, показался приятель и заголошнно замахал руками. «Уж не мог сам навестить, тятя, – бормотал Яшка, снимая с кола веревочную петлю и ставив лодку на приглубое место. – Все-то ему няньки натъ, ведь мужик уже».

Он быстро протолкнул осиновку через быстрину, а Донька, ожидая, переминался на берегу. Отросшие волосы косицами сползали на уши, тонкая шея робко выглядывала из просторного мятого балахона, но голубые глаза под белесыми ресницами сияли неподдельной радостью и проливали на Яшку потоки восторга от нежданной встречи. И, глядя на Донькино лицо, Яшка тоже расцвел, почувствовал себя взрослым и сильным, но крикнул нарочито строго:

– Ну, здорово, воша-богоша. Че мнешься? Ползи давай в лодку-то... К ханзинской избе хошь?

Донька растерянно оглянулся, заметался нерешительно по берегу.

– Лезь давай. Трусишь, да? Так и скажи.

– Да, трус, тебе-то хорошо... Ты, Яша, погоди. – И, махая просторными рукавами балахона, Донька взбежал на взгорок, крикнул оттуда: – Мам-ка, я до Яшки поехал.

– Я уж покажу Яшку, – закричала от варницы Тина, отыскивая прут помягче. А сын не знал, на что решиться, то на мать взглядывал, то на Яшку, нетерпеливо зовущее с лодки, и вдруг, словно в омут кинулся, махнул на все рукой, подхватил лапти – и в лодку. Осинówka качнулась с борта на борт, у Доньки сердце обмерло, а желтоволосая Тина на берегу запримечала в испуге:

– Вернись, Донюшка, Богом прошу. Вернись, пальцем не трону.

– Ма, чего ты. Я не маленький ведь...

– Боюсь я воды, вернись, Донюшка.

– Ма-ма, на тот берег, ну? – жалобно упрашивал Донька, а в душе и не подумывал возвращаться. Яшка торопился, словно нагоняли их, наворачивал шестом, взмок весь, под носом растеплило, такая дюля над губой нависла – страх. А Донька еще раз обернулся с неясной тоской в душе, но матери на берегу не виделось, и у балагана не мельтешили люди. И, успокаиваясь, он вдруг похвастал:

– А у нас татка с морю пришел...

– Эка невидаль, – сплюнул Яшка, скрывая зависть.

– Знал бы ты... страхов-то, сказывал, натерпелся, – уже готов был доложить Донька, но приятель сухо оборвал:

– А я еще и не то могу. Мне бы только вырасти. Я ничего не боюсь. Петре Афанасьичу палец-то хам! А он: ы-ы..

– Он вчера с гостился до нас, дак сказывал, ой-ой.

– Чего сказывал-то? – уже с интересом спросил Яшка и подумал: «Жалился небось, плотина. Живую кукушку съел.. Другой раз носырю прокушу, коли мамку бить будет». – Ну чего сказывал-то?

– И не скажу, пошто дразниссе...

– Ну и отвяжись, привязка, – сурово оборвал Яшка. Уж очень ему хотелось съездить Доньке по шее, чтобы тог не задавался. Но тут ткнулись в берег. Яшка молча вытянул осиновку на зеленый мысок и, не оглядываясь, помчался к ольшанику. Донька тоже поспешил следом, но балахон путался в ногах и мешал бежать. Духота стояла, недалняя туча отливала багровым светом, и по ту сторону речки угрюмо погромыхивало. Пока-то Донька снимал балахон, Яшка уже пропал, только вздрагивали неожиданно вершинки кустов да потрескивали сучья под ногой убегающего приятеля. И вдруг Доньку остановила промоина, доверху залитая болотной водой, глубина ее чудилась страшной, а дальние истоки, где можно бы обойти, поросли перезревшей осотой и терялись в калтусине – луговом седуне.

– Яшка-а, где-ка ты? – позвал Донька со слезой в голосе.

Страх щекотнул спину, Донька обернулся и увидел лишь тугие красные дудки с пахучими цветами да черное небо поверх. А впереди неожиданный ручей, морщинистые стволы ольшаника и легкий голубой просвет меж деревьев. Примятая кочка еще вздрагивала: значит, Яшка перебирался здесь. Донька снова попытался ступить в воду, но не достал дна. А тихо-то кругом, до жути тихо; не шелохнутся жирные узловатые дудки, целый лес падрениц, а впереди желанная лужица света, которую еще не затмила громыхающая туча.

«А, будь что будет», решил Яшка, кинул балахон по ту сторону ручья; теперь уж поневоле придется прыгать, зажмурился и толкнулся от зыбкой кочки. Мысленно-то он уже представил, что ему наверняка не допрыгнуть до той стороны, и он должен схватиться вон за тот сук, чтобы не захлебнуться, – и действительно, Донька плюхнулся в самую середину промоины, далеко не долетев даже до спасительной ветки, и стал отчаянно возиться в воде, страшась встать.

– Тяпа ты, тяпа, – сказал Яшка, неожиданно взявшийся откуда-то. – Экий ты недоделок. Вставай давай, доколе будешь в луже валяться?

А Донька таращил помутневшие глаза, да и Яшка ли стоит над головой, а не тот лесной лешак, который только что таился за деревом? А Яшка почему-то пошел через ручьевину, закатав порточины на колена, у той стороны, где, по Донькиному разумению, была жуткая глубина, шагнул чуть в сторону, потоптался, нахалюга, попрыгал на живых кочках, строя Доньке рожи, и вернулся обратно тем же путем. Эту дорогу Яшка знал хорошо, еще когда сено косил здесь, и решил пострашить приятеля.

– Ва, бояка. Баба в штанах, хуже Тайки Чикиной, – дразнил он Доньку.

Но тот надулся, глотал соленых жуков, которые сами рождались на глазах, выжимал порты, скручивая наподобие вехтя. Яшка лез помочь, но Донька отталкивал его локтем, отворачивая мокрое лицо в сторону. Они вышли на запущенные навины, которые уже давно никто не пахал, и когда завиднелась на опушке матерого леса серая изба, похожая на зарод сена, то присмирели оба, часто оглядывались, вспомнив людские наговоры, будто здесь пугают мертвяки.

Мальчишкам было до жути интересно, и никакой черт не мог бы их остановить сейчас на полдороге. Но когда миновали вонный амбар²⁹, а дверь тихохонько скрипнула, подавшись от сквозняков, то оба встrepенулись, готовые наддать к реке, а сердчишки испуганно ворохнулись в ребра.

– Пу-гат, – тихо прошелестел Донька, уже забыв все смертные обиды и хватая дружка за рукав.

– Не-ка, – отчаянно возразил Яшка, но побледнел лицом и тут же стал задорить себя, заорал во все горло: – Я не боюсь тебя, леший.

«Бу-бу-бу», – заворчал что-то в амбаре и тут же стихло.

– Эко диво, да мы сами кого хошь напугаем, – сказал Яшка и подмигнул черным заходевшим глазом. И Донька подумал, ответно подмаргивая: «Во разбойник-то, тать лесная, – и сразу заново припомнил вчерашний разговор. – Все, значит, правда», – сказал он сам себе, невольно сторонясь и пугаясь приятеля.

Изба была ставлена высоко, рублена на года, и старость едвахватила необхватные листовенничные деревья. Дверь хранил поржавевший амбарный замок наподобие секиры, волоковые окна закрыты изнутри, чтобы не мог каждый беспутный бродяга пакостить в доме. Но сразу было видно, что давно уже никто не бывает подле, да и кого потянет в такую глушь, кроме тати или разнесчастливого человека.

Яшка мигом обежал избу вокруг, будто охотничья собака, смекая, как бы удобнее забраться в дом: подергал хлебные дверцы – плотно закрыты на щеколду изнутри; замок на

²⁹ Вонный амбар – амбар для хранения вещей и припасов.

двери – тоже не под силу; волоковые окна – задвинуты досками. Тогда взбежал по взвозу к поветным воротам, но кожаный ремешок был выдернут, потоптался подле и надавил на ворота плечом. Они, видно, сидели неплотно на деревянных пятках и, сухо скрипнув, подались. Яшка в щель подцепил щеколду палкой и откинул ее. Ворота раскрылись неохотно, с повети дохнуло застоялым холодом и плесенью. Страшно было идти по скрипучим плахам. А Яшка, находальник этакий, еще пугал порой: неожиданно оборачивался и хрипел Доньке в лицо.

В избе стоял мрак, но Яшка на ощупь, будто жил здесь, вдоль печи пробрался к передней стене и отдернул волочильную доску. Тут белая вспышка ударила в глаза, дом словно встряхнуло, и гром прокатился по крыше.

– Пугат, баба Ханзина пугат, – опасливо сказал Донька, пригибаясь к полу.

– Чего пугат?.. Илья Пророк едет, когда ли будет, – откликнулся Яшка, и Донька снова втайне позавидовал его храбрости.

Мальчишки огляделись: изба была большая, с осадистой печью в левом углу, с бахромой черной сажи на потолочных плахах и с толстыми лавками по передней и боковой стенам. Полати закрывала короткая занавеска из крашенины, и потому думалось, что там кто-то есть.

– Яш-ка, а где-ка убили-то? – решившись наконец, спросил Донька.

– Здеся и убили. Брюхан сказывал, что подле двери, – деловито ответил Яшка, протирая жесткой пяткой пыльные плахи около порога.

– Дак ты знашь про то? – намекнул Донька, пугаясь досказать вслух.

– Чего знашь? – переспросил Яшка, не отрывая от пола глаз.

– Что твой тятка убил бабу Ханзину да девку Варвару...

– Ты очумел? Ты что это, ворзя? Я ведь сколотыш. В рыло захотел?

– Дак тебя не ветром надуло?! – не отступался Донька. – Без тятки никак нельзя.

– Не-ка, не-не, – вяло бормотал Яшка, высунув голову в волоковое оконце. – Я сколотыш, все так говорят. Я ничей, правда?

– Вчера Петра Афанасьич сказывал, чей ты, – тянул Донька, уже не в силах умолкнуть.

– Не ври-и, – тонко по-щелячьи завыл Яшка, узкие плечи задрожали, и мальчишка еще дальше потянулся в волоковое оконце, словно хотел вывалиться вон. – Не ври-и, чего врешь. В рыло захотел, да-а? Получишь... А брюхана убью, пошто он мамку мою колотит. Я ему сделаю чего ли.

– Ну буде, буде, – утешал Донька, устыдившись своей радости, потянул приятеля за полу кафтана. Парню было стыдно показывать слезы, и он упирался, хватался руками за бревна, но Донька настойчиво тянул за широкий подол, все больше жалея Яшку. – Ну буде, буде, может, и врет он. Всамделе врет. Он ведь кукушку живьем съел, с него станется. – И вдруг предложил: – Ну хочешь, давай покрестосоваемся? Будем крестовыми братьями.

Яшка прислушался, перестал всхлипывать, а Донька, уже испытывая к другу жалостливую нежность и сам готовый заплакать, снял через голову крест на кожаном засаленном ремешке.

– Ну давай, ну чего ты... На меня говорил, а сам-то плакса, вз-э. Плакса, рева-корова.

Яшка замотал головой, рукавом кафтана пробовал смахнуть слезы, но они лились неукротимо, оставляя грязные борозды, а нижняя закушенная губа некрасиво дергалась. Сначала Донька подставил свою рыжую голову, а ростом он был повыше. Потом пришел Яшкин черед подставлять лобастую голову, и Донька, продевая шнурок, долго пугался в крученных смолевых волосах и в оттопыренных прозрачных ушах.

– Навеки? – торжественно спросил Донька.

– Аха, – согласился Яшка.

И тут словно провалилось небо от долгого громового раската, и оказалось, что изба сразу осела на два нижних венца в землю.

– Свят, свят, осподи, спаси и помилуй, – шептал помертвелыми губами Донька, пряча оробевшую голову и не в силах отвести взгляда от волокового оконца. В крошечном проеме меж бревен он увидел, как в ослепительном солнечном свете шла, нет, плыла над землей простоволосая баба и белая холщовая рубаха легко вздувалась в ногах.

– Свят, свят, изыди, сотона, – крестил Донька волоковое оконце, и в голубых гуманных глазах стоял такой помертвелый ужас, что Яшка, только взглянув в лицо приятелю, тоже заразился страхом, боясь оглянуться.

– Бежим, бежим, – вяло шептал Донька, крестясь и отступая к дверям, и вдруг заорал истошно: – Покоенка идет!

Страх подхватил мальчишек и лишил разума. Они вынеслись из дома, забыв затворить поветные ворога, и прямо через навины и обкошенные пожни вымчали к речке, и только тут первым остыл Яшка.

– Ты чего, тово? – задыхаясь, покрутил пальцем у виска.

– Баба Ханзина шла. Вот те крест...

– Ври-ко боле, – не верил Яшка.

– Ей-Бог, идет, а сама земли не задает, и рыжее волосье вокруг головы помелом.

– Да ну тебя, вечно ты чего ли. И меня-то напугал. Хуже девки, ей-Богу, – недовольно скрипел Яшка, заговаривая свою слабость.

– Да ладно, чего ты. Ой, мамка-то где ли ищет меня. – спохватился Донька. – И тятка трепки хорошей задаст.

Они быстро стянули стружок в воду, Яшка вытолкнул его на стремнину, путаясь шестом в жирных зарослях куги. Донька крутил шеей, ему хотелось поскорее вынырнуть из-за поворота, чтобы разглядеть варницу, серый полог, похожий на развалистую копну, и тогда успокоиться.

– Хватит крутиться. Не на земли ведь, – укорливо сказал Яшка. – Мамкино охвостье. Бат, не век за бабий подол держаться будешь.

– Тебе-то хорошо, тебе тятка не задаст...

– Окстись, чего мелешь, окрысился Яшка, и опять в его сердце заворочалась обида.

Они замолчали, Яшка пыхтел, ворочая шестом, в воздухе стояла духотиша, и во все небо клубилась свинцовая туча, и хотя она гремела жерновами где-то на Лебяжьих озерах, но уже ни капли дождя не выжала из себя. У Доньки болела шея, глядячи назад, и когда он встретил глазами свой берег, то поначалу ахнул. «Осподи, чего там деется?» – потому как столб белого пламени стоял над их пологом и с черного неба падали на землю горящие птицы.

– Гони, чего глаза вылупил. – крикнул он Яшке и, уже не боясь воды, встал на вертком носу стружка, выглядывая людей. Но было пустынно на берегу, и только громадное смолевое дерево полыхало безмолвно и страшно от комля до вершины, и горящие сучья летели пониклыми птицами и ударялись в подножье, рассыпая красные искры.

– Мати, матушка, где, как ты? – позвал Донька пересохлыми губами и, уж не в силах ждать более, неловко вывалился из долбленки и побежал к берегу.

– Воно они, оно, – закричал Яшка, замахиваясь рукой в сторону от горушки, где спит к реке в самом берегу стоял на коленях мужик.

Глава третья

– Теменище-го на воде, необоримая сила нашла, – уныло молвил Гришаня Богошков, заползая в полог. – Откуль столько ли дождя подняло.

И снова взялся за кочедык³⁰, неловко шевеля заостренными в козонках сухими пальцами; уж такой рукодельный Гришаня, что в каждую свободную минутку то вершу из прутьев вяжет, то лапти плетет. А Калина смолчал, только бросил на брата косой взгляд. Он лежал на овчинном одеяле, раскинув широко руки, порой гладил побитую сединой бороду и задумчиво и покойно глазел в полотнище полога, о которое мерно и беззаботно колотился дождь. И в уставшей душе тихо меркло пережитое, и тело наливалось блаженной ноющей истомой, казалось, век бы не сдвинулся с места. «Осподи, да будь благословенна жизнь».

– И откуда столько дождя нагнало, – снова горестно молвил Гришаня, вспоминая мокнувшее сено.

– Жара была, вот и воспарило с земли, – откликнулся наконец многодумный брат.

– Кажись, наставили сенов.

– Да...

– Петра-то не с добром приходил, – вдруг напомнил Гришаня, откладывая лапоть в сторону. – Взглядом так и прожигает.

– Пес собачий, – откликнулся Калина.

– Может, и пес, а в гору пойдет. Крутой на работу... Сказывали, еще как в дом-то к бабе своей вошел после венца, голову в потолок наставил и на всю избу, голоса не схоронил:

– «Я иду, зверь лапист и горд горластый, волк зубастый: я есть волк, а вы есть овцы мои».

– Врут чего ли, поди...

– Да нет, такое не соврут. А силу наберет, вот те Бог. Он, вишь, сколь горласт, он ведь изо рта кусок вырвет. Сам-то брюхо набьет, потом и баба за стол садится, а он с кровати и выглядывает, сколько кусков Гутька съест. За вторым-то потянется, а Петра уже и орет: пошто много жорешь...

– Ну и Господь с ним.

– Да как не Господь-то...

Они замолчали, уже почему-то расстроенные, в худых душах. Где-то вдали громыхнуло, вся мокрая влезла желтоволосая Тина, повойник выжала у входа, стоя на коленях, виновато глядела на мужика.

– Ну отступись, бродить буде тебе, – добрым голосом попросил Калина. – Иди, посиди подле. Ты бы творожку нам наклала поись. Соскучился я по домашней выти.

И только Тина вернулась в полог с берестяным туесом и стала выкладывать творог в деревянную миску, как нетерпеливый гул пошел по земле, словно бы западали с неба огромные камни-булыги величиной с хорошую избу. Белые молнии сновали вокруг, и намокший черный полог казался сшитым из прозрачного рыбьего пузыря, столь светло становилось вдруг.

– Осподи, осподи, – так с ложкой в руке и застыла желтоволосая Тина, потом словно бы очнулась, стала торопливо насыпать творог в миску и тут же молитвой к грому спасала себя: – Боже страшный, Боже чудный, живой в вышних, седая на херувимах, ходяй в громе, обладая молоньей, призывая воду морскую и проливая ее на лицо всея земли...

– Такого нынче еще не прикатывало. Вот дак Илья Пророк, – перебил деверь, подсаживаясь ближе к миске, и свою баскую ложку в алых цветах потянул из онучи. – На такой колеснице он сейгоду не катывался, кажись, а?

– Что-то не упомню, – поддакнул Калина.

Тина беспонятливо и ошалело смотрела на мужиков.

– Осподи, а Донюшка-то... Боже страшный, Боже чудный! Сам казни врага своего, диавола, всегда, ныне и присно и во веки веков... Нет, не могу боле, душа тоскнет и оторопь

³⁰ Кочедык – инструмент для плетения лаптей.

берет. Боюсь я грому, ой, боюсь, и Донюшка малой где-то. Ну прибежит, выпорю как сидорову козу. Давно не секла. Пойду гляну, где-ка он, находальник, мучитель мой.

– Пстой, куда же ты? – пробовал остановить Калина, но жонка отмахнулась, выскочила вон, и мужик тоже невольно полез следом, вслух ругая Тину и пугаясь чего-то неведомого.

А небо колыхалось, словно живое, похожее на гневливое море, грава почернела, деревья поникли, омытые влагой.

Калина сам себе покачался ничтожным червем под этой огненно бурлящей тучей, и невольная оторопь охватила все его существо.

– Вернись-ко, Тинушка, – закричал Калина вослед жонке, но та уже ничего не слыхала, подбегая к горушке, где стояла одинокая, с редкими корявыми суками понизу сосна, на которой полоскалось в дождь всякое тряпошное бабье обзаведение. С холмушки и правда было видно куда лучше, и та, противная сторона реки, богатые травой наволоки смотрелись как бы под самой ногой. Но казалось, что именно там, над сосной, особенно ярко кипела туча, завиваясь черными струями в косматой вершине, и две розовые прогалины, словно два ненавистных глаза, зорко выглядывали оттуда на землю. И будто лучина вспыхнула, как шелестя озарилось поначалу небо: это из смертного глаза метнулась змея-медянка, зашипела, достигая земли, и ужалила одинокое дерево, подпирающее небеса.

И сосна ойкнула, а может, то вскричала желтоволосая Тина, вздрогнуло дерево всем своим жилистым вековым телом, но устояло, и тут же малиновая головка змеи любопытно выглянула из белой расщелины ствола. И Калина Богошков увидел, как, раскинув руки, саженой пять летела к самому подножью горушки его желтоволосая Тина, и голько легла она, распластавшись о землю, как гром грянул от края до края безмерной тайболы, комариной Руси.

И словно бы насытилась гроза своею жертвой, взял Илья Пророк себе в наложницы Тину и укатил на колеснице в родовой замок, и уже где-то далеко на краю земли сыпались искры-молнии от его кованых колес. Но что ему в его грозном, жестоком величии до ничтожного земляного червя, распятого нынче в своем горе, а может, удаляясь и держа властными десницами душу земной женщины, он еще озирался назад и вниз и жалел, что не может похитить и брентную остывающую оболочку ее, в которую была одета прекрасная душа. Кто знает, о чем думает зло, круша свою жертву, но говорят, что оно всегда недовольно собою, ибо власть его не равна желанию...

А Калина Богошков, еще не понявший горя, подбежал к Тине, пробовал поднять ее налитое смертной тяжестью тело, путаясь раскоряченными пальцами в ячменных разметавшихся волосах.

– Тина, Тина, осподи, что с тобой? – спрашивал он тупо, вытирая грязной ладонью холодеющее лицо жены. – Тина, что с тобой? – снова вскричал Калина и стал рвать рубашку на груди жены и бессмысленно подумал, что ни разу вот не видел свою бабу голой, проживши с нею пятнадцать лет. Уж так заведено в деревне, что берешь бабу за себя в юбке до пят, строишь детей в потемках, а если помрет жена раньше тебя, так обмоют и обрядят в саван и уложат в домовище соседки. Так ведется в деревне испокон веков, и не нами заведено это.

Молния ужалила Тину под левую титьку, еще тугую и налитую бабьей нерастроченной силой, и тело с левого бока посинело, будто долго и жестоко пинали его ногой.

– В землю, в землю ее, чего сидишь-то, – закричал Гришаня, толкнул брата в плечо, подхватил Тину под плечи и поволок. – Берись за ноги-то, чего... У реки, у реки надо копать, там земля мягше.

Сбежал за топором, стал отчаянно рубить землю, постоянно оглядываясь назад, на безмолвную Тину. «Растелеши ее, растелеши совсем-то. О Господи, с ума сошел». Пришлось самому с невестки стягивать юбки, пока Калина, стоя на коленях, по-собачьи выгребал глину.

– Молонья-то и уйдет, в матушку – сыру землю убежит. Эк ее, сердешную, садануло, – все говорил Гришаня, потому как молчать было куда страшнее, потом уложили Тину в мелкую канавку и забросали сверху, по самое лицо, мокрой землей. Сели рядом, грязные как черти, и с надеждой смотрели на жонку. Вот устало откроет она глаза, улыбнется и скажет: «Ну чего вы, мужики, затосковали». Порой Калина принимался дуть жене в рот, а ее холодные губы обжигали его губы.

– Матушка – сыра земля молонью вытягат. Выманит ее, выманит, – утешал Гришаня.

Тут и прибежал Донька, беспонятливо посмотрел на материно белое лицо в потеках грязи.

– Матушка, ты чего? – спросил он, ожидая ответа.

– Вот и пробегал свою мамку, – сказал Гришаня и споткнулся, и сразу все поняли, что рыжеволосая Тина умерла. Стали отрывать ее, обмыли речной водой, завернули в овчинное одеяло.

– Матушка, ты совсем-то не помирай, – умолял Донька, глотая слезы. Он еще не мог понять толком, что случилось. Будто бы сейчас все и было: он заскакивает в стружок, следом бежит матушка и кричит: «Воротись, сынок, Богом прошу, воротись», – а он просит: «Мама, спусти, я ненадолышко», – и лодку уже уносит вода; и Доньке долго видно, как мать грозит ему с берегу кулаком. И вот мамки нет, она лежит закутанная в овчину, и оттуда только выбиваются длинные потускневшие волосы, которые Донька так любил, бывало, расчесывать костяным изукрашенным гребнем.

– Жарко, спешить надо, – деловито сказал Гришаня, и Калина, не сронивший ни слезинки, словно бы закаменевший с горя, согласился:

– Отправляюсь я. И Доньку заберу, пусть мать спровадит...

Он занес жонку в карбас, от братневой помощи отказался, положил осторожно на телдоса³¹, отогнул край овчинного одеяла и посмотрел в лицо с печатью страдания в углах побелевших губ: лежит Тина будто живая, только серой пыльюхватило застывшие веки, и волосы утратили прежний медовый цвет. Поцеловал Калина покойницу в лоб и сказал:

– Уж ты прости меня, Тинушка, что так у нас все приключилось. Ой, знатье бы, дак, – закрыл лицо одеялом, но дикими глазами все не мог оторваться от белой потрескавшейся овчины, под которой осталась жена.

– Жарко, спешить надо, – напомнил сзади Гришаня и, как больного, поддерживая под локоть, помог Калине забраться в карбас, шест вложил в покрытые шрамами руки и, забродя по пояс в воду, столкнул карбас на самую быстерь и еще долго стоял, сутулясь, и посылал вдогон православные кресты: – Ну с Богом, хрещеные...

Донька поревел еще и перестал. Он сидел в носу карбаса, не отрываясь смотрел в текущую воду и думал с беспокойством, что вот мамки не стало и как теперь они будут жить. Но в душе почему-то не пропадало ощущение, что матушка умерла ненадолго и невзаправду: Донька и татушка немного поживут одни, а потом маменька вернется. И потому он сидел отвернувшись, но слыша позади любой шорох: глухо покашливал отец, словно бы сдерживал рыдание, шумно перекачивалась под кормой вода, но каждый раз Донька невольно вздрагивал, когда тятка говорил тоскующе одни и те же слова:

– Уж ты прости меня, Тинушка, что так у нас все приключилось. Ой, знатье бы, дак...

³¹ Телдоса – настилы в лодке.

Вспоминал Калина прежние совместные годы, и по всему выходило, что вроде бы еще не жилали они толком, а лишь примеривались. Повезло Калине с бабой, ой как повезло: по любви сошлись они, по любви. С дядей своим Клавдей Богошковым плотничал у чернотропов в Лобане. А был Калина для Клавди за сына, и даже любее: своих детей Бог не дал, а этот парнишка столь уважительный да послушливый, привязался к дядьке с малых лет, и домой его в поречные Кельи к родителю-батюшке не затянешь на поводу. Да и то правда, брат Иванко все в морях убивается, детишек накопил полную лавку, и потому Клавдя племянника от себя и не гнал, да и сам от доброй души сердце свое грел. Порой убежит Калина на посиделки, а Клавдя своей старухе и говорит: «Послал Бог нам сынка, сподобил, и тебе изустное слово даю, пусть хозяином после смерти моей будет».

В тот год они в Лобане две избы рубили и надолго зажились в той деревне. Где-то в белый вечер и поймал Калина взглядом рыжую девку с глазами из синего неба, сразу и сохнуть по ней стал. На посиделки придет, полный фартук ей пряников медовых насыплет да орехов кедровых – для молодых зубов. Улыбнется Калина, хрящеватый нос на сторону уведет, каждому смеяться хочется.

– От тебя обжечься можно, – скажет. – Волосье полымем горит.

– Уж не один сгорел, – ответит она и глаза не потупит. – Воно Степа Окладников стоит, как головешка черный.

Все и хохочут, зубы скалят, а у печи, обвалившись плечом, стоит Степка, черный как ворон, только белками голубыми пялится. Насупился парень, словно «мавр из-за моря Хвалынского». Уж не раз приставал к девке: «Поди за меня, сватов нашлаю». А Тинка только посмешки строит: «Дай мне в девках-то нажиться. Потом уж боле не приведется». Вот и водила парня за нос: и «да» не говорила, и от себя не отталкивала.

В самую неподходящую пору для Степки привелся в Лобане подмастерье из Дорогой Горы: из себя сухонек, волосы русые в колечко и глазастый, будто вилами тычет, а уж топора из рук не выпустит, неровня чернотропам. Те дом сварагулят, хоть стой, хоть падай, а у Богошковых избы рождаются с курицами да с гривастым конем на охлупне, да с резными полотенцами, и волоковые оконца фигурной доской обведут. А свои-то парни – вешалины – слова доброго сказать не могут, только косяки плечами подпирают.

У наезжего молодца и язык ловко пришит:

– Эй, девки, отгадайте, орехов насыплю, которая смекалистей: повыше коленца, пониже пупенца, болтается поленце. Что такое?

Девки сразу на худое думают, краснеют, за прялищами прячутся.

– У, охальник... Сразу видно, что чужой. У наших парней на такое язык не поворотится.

Парни смеются:

– Мы ему сейчас рыло начистим.

– Ну полно, вот ума-то... Ножны ведь. Будто никто ножа не нашивал.

– И взаправду. А мы уж на плохое подумали, – галдят девки, а сами рады слушать. – Еще загани, еще.

– Черен, да не ворон, не конь и не кобыла, не бык и не корова, шесть ног без копыт. Че это?

– Степка Окладников у ободверины, – говорит Тинка. – Так ли, девки?

– Уж воистину... Без ободверья не устоит.

– Да ну вас, полоротые. – отмахнется Степка, звериным взглядом окинет Калину и на заулоч выметется, но там дождется девок.

С посиделок идут вместе, никоторый не уступит: Степка пыхтит, так и кажется, что с правого плеча даст сопернику в ухо, а Калина вослед, будто не слышит вражины, кричит:

– В ящечках плашечки, белы камешки, сини денежки...

А Степка рядом чуть ли не в бок тычет локтем и шипит: «Ты у меня ножа схлопочешь ужо».

И пошли по Лобану слухи: Тинка Сафонова с огнем играет, двух «парней захороводила и некоторому согласья не дает. Степка Окладников ножом грозился: квадратный парень, что в рост, то и в плечах, быка завалит, а думает долго.

Стали выборные гадать, как бы от беды уйти. Вот и собрались однажды, будто случайно, у питейного дома и старшину сюда залучили и писаря, спорщиков позвали. Стали всем миром вслух думать:

– Если вы добром не можете разминуться, так, может, жребий кинем, которому девку брать?

– А што, и жребий, – мотнул головой Степка.

– Ты чего, голову в лесу забыл? – посмеялся над соперником Калина. – Дело-то не велико, а суд порато большой, – сказал всем.

Кому-то не понравилось, одернули парня:

– Мало говори, больше услышишь.

– Остер на язык-то. Уедет, оставит девку с приданым.

– Нынче все это порато просто. Не успеешь повернуться, уже готово – проверились на весь предмет...

– А которо и лишне скажут, – вдруг сказал ветхий старичок, и мир замолчал. – Девушка не травка – не вырастет без славки.

– Уж так, уж так, – закивали согласно.

– Парень-то дело сказал. Сами беду на палец мотаем. А по мне, дак девку-то постегать надо.

И тут Степка озверел, переступил косолапыми ногами, и тяжелые глаза выкатились из толстых век.

– Я кому-то постегаяю. Кто пальцем тронет, ножом порешу.

Невольно замолчали все, и мудрый, с мохнатым лицом старик смущенно закашлялся, но упорно заговорил снова ангельским голоском:

– В девке беда вся. Сама она, стерва, не знает, чего хочет. Квашня скисла, через край бродит. А в ней, в девке-то, с самого рожденья баба сидит. Уж такое поперечное племя. Ведь им любо, как из-за них-то драка идет, у них тут ликование в самом сердце. Постегать надо девку.

– Не дам тронуть, – артачился Степка, – я ин с эдаких лет вместиах.

И Калина притих, видя, что дело зашло далеко. А старичок-советник свое ведет:

– У меня жеребеночек был, с руки выкармливал, он ли у меня не знал ласки. По десятку раз на день-то приду к нему. Выпоил, выходил, стал мой жеребеночек жеребцом. Сел я на него – объездить задумал, а он ведь скинул меня...

И Степка, услышав такие слова, вдруг кинулся бежать, загребая косолапыми ногами пыль, и холщовая рубаха пузырем надулась на спине.

– За ножом побежал, – опасливо сказал кто-то.

– Не, Степка такого не сотворит, – ответил старик. И порешили назавтра высечь девку на деревенском сходе, чтобы другим неповадно было.

И Калина поспешил в избу, где на постое жили, к дяде своему за советом.

– Вези самоходкой в Дорогую, выкради девку от позора, – сказал дядя, подумавши недолго. – В подугорье наш карбасок, в самой потемни и побегайте. Поутру в Афанасьевской будете. Там обвенчают вас, молви только батюшке, что родитель у невесты старообрядец. Православные-то попы порато как ненавидят их.

Поклонился Калина в пояс и сказал дрогнувшим голосом:

– За тату вы мне, дядя Клавдя. До смерти не забуду вашей доброты.

И сделал все, как дядька советовал, увез Тину «самоходкой». В чем была девка, в том и ушла из дому, да еще и радешенька: может, битья прилюдного испугалась иль без парня милого жизни своей не мыслила. И рано поутру в деревне Афанасьевской повенчал их приходской батюшка, спросил только:

– По доброму согласию иль по насилию?

– По любви, батюшка, по любви, – ответили жених с невестой.

Без отдыха столкнулись вниз по реке и другим вечером уже в Дорогой Горе были. Еще больше почернел, засушулся Калина Богошков; всю-то дорогу вымолчал, только вздыхал протяжно, не в силах сдержать сердечной болезни, думал тоскливо: «И за что же напасть такая на богошковский род? Господь многомудрый, пошто ты под самый корень изводишь нас, за какие грехи? Где доброта твоя? По какому разумению творишь ты ее, Господи, пресветлый и пречистый».

Зашел в дом, и дом показался сиротским. Баб соседских призвал в помощь, сундук открыл великоустюжской работы, распечатал холста беленого тонкого трубу, попросил смертельную рубаху сшить: ведь не мыслила помирать Тина, в самых бабьих соковых годах была, только бы жить ей без печали, а вот поди, многих старых старух, трухлявых сыроежек обогнала, поспешила лечь в сыру землю.

Сходил Калина к Егору Немушко, попросил свежего теса на домовище, вспомнил старое плотничье ремесло, еще не забыла рука топора, и срубил бабе своей, желтоволосой Тине, последнее жилье без окон. Вот уж воистину правы старые люди: «Человек на земле живет, яко трава растет. Всяко слово человеческо, яко цвет цветет: ввечеру человек во беседу сидит, а поутру человек во гробу лежит».

Домовище на спине заволок, сгорбился, словно сам лечь в него норовил; бабы кинулись, помогли на скамейки поставить, а уж дальше Калина глядеть не мог, схватил сына в охапку и на крыльцо. Уже август-жнивень стоял, дождиком наносило с реки, и у единственной на деревне березы лист понизу зажелтел: знать, ранним снегам быть. А из открытых дверей вопли неслись, и на душе подавно ненастье рождалось, да такое, что жить не хотелось: «Ой, да не убойся ты, желанная, тебе сделали да дом-хоромину без дверей и без окошек, и без скрипучей-то полаточки, и без тесовой-то кроваточки, и без жаркой кирпичной печеньки».

Проводить верховку желтоволосую приволоклись старухи с клюками да деды, обабки болотные, с большими желтыми ушами, похожими на пергаментную бумагу; еще дьяк пришел, покадил, навонял сладким дымом; да подьячий поспешил за деньгу кормовую почитать над усопшей; волостной старшина навестил, в черном кафтане с белой овчинной оторочкой по подолу. Пусто в Дорогой Горе, всех вымела страда из деревни на морские промысла, на лесные навины да на богатые травой наволоки.

Нехорошим духом потянуло от покойницы, потому не мешкали, в свежую могилу повезли: нести-то было некому, едва мужики нашлись, чтобы в могилу спустить домовище на полотенцах. Бабка Соломоня, общая плакальщица, завывала на весь жальник: «Охти мне-чушки тошнехонько! Ой не убойся, да наша желанная, уж ты прекрасного-то кладбища, ты глубокою могилочки».

Калина медную монету в могилу бросил, купил желтоволосой Тине последнее и навечное место, задобрил старых покойников, которые без платы место не дают. Теперь не будут они тревожить подземельную насельницу, не станут гнать вон из могилы каждую ночь, чтобы шла она под окна родимого дома и просила купить место. Исполнил Калина родовой обычай, и бабы-староверки истово закивали головами. Потом забренчала тяжелая глина о домовище. Донька забился, запричитал, словно сердце у него вынули, и многих от такого крика слеза прошибла.

– Бедный парничок. Ведь без отца полсироты, а без матери и вовсе сирота, – зашептались, утирая оборчатые губы концами черных платов.

– И мужик-то осиротился. Сам с морю едва вышел, и тут же бабу схоронил...

– Как не осиротился. Каку ли бабу найдет, а уж все не матери для мальчика будет.

– Не матери, не матери. Чистюля была покоенка, уж полы-то вышоркает, стены вышоркает. Я. бывало, говорю: Тинка, ты до дыр протрешь, охолонись!

– Она уж така была, рукодельня...

И потекли черным жидким ручейком меж усатых ячменей, смуглых едва, не налитых солнцем и медной зрелостью. Бывало-то, шла здесь на жнивье Тина, и спелые волосы ее терялись в хлебах.

Часть четвертая

Как росли – не видели, а выросли – только руками развели.

Глава первая

Гоголем въехал мужик в Дорогую Гору. Вороной жеребец высекал подковами искристый снег, выгибал коромыслом шею, сдерживая огневой запал; а в расписных пошевнях, одетый в овчинную шубу с лисьей оторочкой да в лисью жаркую шапку, громоздился Петра Афанасьич. Он ворочался в возке, опруживал его на один полоз, оглядывался назад, где на привязи бежала гнедая кобыла с широкой, как поветные ворота, грудью и горбоносой волосатой мордой, обметанной куржаком. Она порой набегала на пошевни, и тогда испуганно вздрагивали доски задка.

— Потише ты, холера, – радостно окрикивал кобылу Петра Афанасьич, не тая довольной улыбки. Веселый возвращался он с Никольской ярмарки, будто и не было позади длинной дороги от Пинеги. Да и как не радоваться, если такую кобылу взял задаром, ну, в крайнем, задешево, и до сего часа оторопь берет от удачи.

... Хозяин, с Верколы мужик, уже успел приложиться к чарке, хвалился громко: моя кобыла сто пятьдесят пудов бегом потянет. Ну и цену заломил, сказать страшно, сорок рублей. Откуда такие деньги возьмешь, хоть и стоит кобыла этих денег, ой стоит. Толпятся крестьяне, кто в зубы смотрит гнедухе, кто в храп тычет, и Петра быстренько кругом обежал, четвертями обмерил, даже под хвост заглянул и в пахи.

— Бреешь как сивый мерин, – стали подначивать мужики, – у нее в коленках не косье, а хрящи.

— И живот-то опущен, будто рожать собралась...

— И на глаз кривая...

— Постыдитесь, мужики, чего мелете, – огрызнулся пинежанин.

А Петра сразу смекнул, разыгрывают мужика, значит, кто-то торгует, цену сбивает, водки горланам пообещал. А Петра хоть разорвись: и денег таких жаль, но и кобылу в чужие руки отдавать и того страшнее. Выбился из круга, обежал глазами толпу, заметил мужичонку с постным лицом и осоловелыми глазами, – знать, похмелья ищет. За рукав дернул, потянул в сторону.

— Как тебя по батюшке? – спросил нетерпеливо, словно за пятки жгли.

— Афоня...

— В мужичках Афонях да в голубых конях – мало толку бывает. Ну да леший с ним, бывает, повезет. Выпить хочешь?

— А неужто и дашь, – живой интерес мелькнул в светлых глазах. – Рупь серебром?

— Рупь – рупь, – поморщился Петра, но согласился. – Ты за мной послеживай. Только в кабаке войду, не мешкая поди за мной следом. Меня Петра Афанасьич кличут и мы дружки, понял?

— Угу, не впервой.

— Вот и ладно... Подсядешь за столик, будто знакомый, и спросишь, чего, мол, торгуешь, а я отвечу: кобылу торгую. А ты спросишь: а не ту ли кобылу, что в грудях, как поветные ворота? Я отвечу: ту самую, уж рядка-матка была, литки пропиваем. А ты и крикни на весь кабак, мол, ну и дурачина ты, Петра Афанасьич, да у кобылы же глаза тоскнут, у нее животный червь. Так и скажи, понял?

– Ну и хитрован ты, Петра Афанасьич, – завистливо выдохнул Афоня. – А ну, если я сейчас и подведу тебя?

– А кто слышал? Мы с тобой... И рубля не получишь, а под зад от меня спокойно заработаешь...

– Ну-ну, – опасливо отодвинулся Афоня. – Голова-то трещит, ой-ой. Ну, Бог с тобой, поди торгуй скорее.

Петра вернулся в торжище, а там уже на сани мешки таскали, прямо с весов, отмерили сто пятьдесят пудов, и хозяин, весь бледный, – довели, однако, мужика, – бегал вокруг саней, подтыкал груз.

– Купили, что ль? – остановил его Петра.

– Да ну их... Говорят, вру. Это я-то вру? Век не вирал, вот те Христос. Она и двести пудов бегом, чертова сила.

А Петре стало так жаль кобылу, словно из его стойла на базар привели. Долго ли животину запалить.

– Сколько просишь-то?

– Сорок...

– Ошалел? Это пять коров купить. Побойся Бога, двадцать дам.

Пинежанин словно споткнулся, очумело вытаращил светло-голубые глаза, и в них родилось сомнение.

– Ладно, уговорил. Тридцать пять.

– Тридцать.

– Отодвинься, чего встал, – заорал вдруг пинежанин. – Хватит, хватит наваливать. Что, сдурели? – кинулся к саням, стал сбрасывать груз в стоптанный снег, перемешанный мочой и навозом.

– Да мы мешочек лишнего и накинули.

– На вас бы мешочек...

«Загубят лошадь, – тоскливо подумал Петра и оглянулся, почувствовав на себе взгляд. Позади стоял тот мужичонка с постным лицом. – С места погонят застылую и сорвут».

– Эй, хозяин, беру, – закричал поспешно.

– Ну и слава те Богу, не кобылка – золото. Ты глянь-ко на нее, и глаз карий. Тридцать пять?

– Тридцать и покопытное с меня...

– Живьем съел, да куда денешься, – неожиданно легко согласился пинежанин. – Рядкаматка, на чем рядишь, на том едешь.

Схватились правыми руками в локтях, потом помолились в сторону церкви, Петра лисью шапку снял в задаток, взял повод лошади в полу шубы и повел вокруг себя три раза, приговаривая: «Как старому хозяину служила, так и мне послужи. Вот тебе, хозяйнушко, мохнатый зверь на богатый двор: пой, корми, рукавичкой гладь».

Потом пошли в кабак покопытное пить да чай с калачами. По две чарки опрокинули, стали друг друга сватовьями звать.

– Ты пошто продал-то кобылу? – спросил Петра.

– Дак сена-то жорет прорву, а ныне сенов мало заготовили, моя бережина вся чисто выгорела.

– Ну давай еще по чарочке, – пригласил Петра, а сам на дверь выглядывает, откуда должен появиться мужичонок, и просмотрел, как тот у стола вырос.

– Петра Афанасьич. какими судьбами? – бросился обнимать. Перегаром разило и заста-релой грязью, но поцеловались троекратно.

– Афонюшко, товарищок мой, вот и свиделись... А я тут лошадь сторговал, – сразу поспешил Петра к делу.

– Да ну, каку лошадь-ту?

– Кобылка грудаста, сто пятьдесят пуд налетом тащит, – хвастнул Петра, налил мужичонке чарку, тот благодарно глянул выцветшими глазами и выдернул водку разом, не сморгнув.

– Да что за кобыла-то? – спросил посвежевшим голосом. – Это не та, грудаста? Дурачина ты, Петра Афанасьич, – заорал на весь кабак пронзительно тонким голосом. – Да у нее же червь в животе.

– Врет он, ты что? – расслабленно от выпитой водки спросил пинежанин. – Ты что, харя, кобылу славилась?

– Моего товарища харей называешь да гнилу кобылу с рук сбываешь? – грозно спросил Петра. – Давай шапку, сговора не будет. – Выхватил шапку, пошел к дверям. – Обманщик, честных людей обкрадывать.

Пинежанин огляделся, все на него уставились, пальцем в глаза тычут: ославили мужика и кобылу его в грязь сронили, кто теперь купит. Побежал за Петрой, ухватился за цветной кушак:

– А сговор-то забыл, крест православный забыл?

– Поди прочь-ту, бесстыдник, – вышел Петра на крыльцо.

Пинежанин следом, пристыл за спиной, а Петра Афанасьич сторожко слушает, как пьяно дышит мужик. И вдруг побоялся переиграть, степенно оглянулся, лицом обиженный, на голову выше пинежанина, в груди широкий, в купечкой богатой шубе, отороченной лисьим подчеревком, а в зеленых глазах стужа.

– Ну как же ты, а? Не-хо-ро-шо...

– Да я...

– Знамо, что ты. Но за-ради креста православного лишь. Бери пятнадцать рублей, и с миром.

– За таку-то кобылу? Да ты што, сдурел? – Пинежанин туда-сюда, хотел было возмутиться, потом махнул рукой. Если обратно кобылу гнать, так кормить нечем, с сенами нынче худо, а если со стороны корм прикупать, опять где деньгу возьмешь. Глянул на Петру со слезой во взоре:

– Ограбил ты меня, креста на тебе нету. Давай деньги...

На том и разошлись. Довольный вернулся Петра Афанасьич в свой двор, с десятой по счету лошадью в поводу. Пустынно в стойле, все лошади в обозе, в Питер ушли с товаром: как-то зять Михейко птицу продаст? Снял шапку, вдохнул запремый навозный дух, и сердце сразу возрадовалось. Поклонился во все четыре угла. «Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь. Мою гнедую кобылу люби, пой да корми». Без дворового хозяина ни один дом добра не наживет.

В избу вошел, скривился, подумал: давно бы пора новую ставить, как у здешнего купчишки с верхнего околотка Веньки Попова; в два жила, да светелкой по боку, да с пятью красными окнами: хватит зверьем жить. Девки все за рукодельем, которая шерсть прядет, другая тклет на кроснах, и меньшая рукавички вяжет. Разом всполошились, покраснели, поклонились в пояс:

– С добрым возвращением, батюшка, да с прибавлением.

Хмыкнул Петра, руки растопырил, подбежала меньшая, Тайка, потянула шубу с плеча. Распечатал дорожный короб, насыпал девке за ласку полный подол сибирских орехов-гнидок, щелкай, белянка, на здоровье. Евстолие кинул кусок парчи:

– Сшей себе шугай³², может, какой ли мужичонок подберет.

– Ой, полно тебе, батюшко, вечно ты так, – покраснела, отвела ненавидные глаза.

³² Шугай – верхний праздничный наряд.

Не дал Бог девке красоты, а природа своего просит. Уж третий год клянит на Покров себе мужика: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком», а жених-то на среднюю, на Маньку круглоносую, угадал. Доколе, сказал Петра, двум девкам невеститься. Хватит, на даровом харче насиделись, – и взял в дом приемыша из Няфты. Не красавец парень, все лицо тараканы обсидели: рыжее от веснушек, но плечами Бог не обидел, и грамота в голове есть. Манька было фуркала, слезно причитала, но Петра девку и слушать не стал, а выстегал ременной плетью до кровавых рубцов.

Столько и репенилась Манька, стала мягче шелковой травы.

Посмотрел Петра на среднюю дочь, а та и глазом не ведет: сидит за полотнами, будто и нет ее. Позвал, нехотя оглянулась, а в лице обида. Кинул ей трубу сукна:

– Кафтан сшей, неча неряхой сидеть...

Сукно раскатилось по полу, и пришлось подняться Маньке из-за станка, сразу живот обтянуло косоклиным сарафаном.

– С грузом тебя, – поздравил, ощупав взглядом. – Скорехонько сообразили. Только парня тащи, а то вон прогоню... Мати-то где?

– Эво я, – откликнулась Августа за заборкой. Вышла в темном костыче, один шерстяной носок скатился с ноги в опорок. – С добрым возвращеньцем, Петра Афанасьич...

– Могла бы и встретить. – Оглядел жену Петра и скривился. – Эк тебя развезло, корова. Поменьше жри-то...

– Болесь у меня, батюшко.

– Ну ладно, ладно, – смягчился Петра.

– Каково съездил, батюшко? – решила спросить баба, услышав ласковость в голосе. Ведь у Петры так: что не по нем, живо кулаком в глаз, а там разбирайся. Бывало, в молодых-то летах и дня не хаживала без синяка. А нынче присмирел чуток, может, старость чует? Тоже боров, прости Господи, и одышка-то его не берет. Так сторожко думала Августа, жадно оглядывая столешню, где грудой навалены пряники медовые, да калачи городские, да жамки сахарные и желтые глызы сахара. Потом и на девок покосилась, не грызут ли чего. Им только дозволь, живо все подметут.

Ой, знал Петра Афанасьич: если бы понадобилась собака добро сторожить, то лучше Августы ему не сыскать. У нее меж пальцев не протечет, она из козульки каравай выпечет.

Крепко цеплялась Августа за хозяйскую квашню и девок до хлеба не допускала, чтобы большухой в избе оставаться среди бабьего племени. И как ни нутужно было тащить на себе весь дом (много ли девки-то делают, каждая для себя норовит), но с первыми петухами часа в три ночи подымется, печь истопит, выть сварит и скотину обиходит. Не надо Августе из чужих рук смотреть на кусок, от своего хлеба отщипнет.

– Эк добра-то навез опять, сколько денег по-пустому вывалил, – недовольно заборшала Августа, быстренько убрала и пряники медовые, и конфеты, и калачи городские. Мало ли кто в гости почтенный зайдет, угостить надо, похвастать житьем-богачеством. А пока пусть полежат в шкафу. И если покопаться в Августиных припасах, то много добра можно найти там еще с прошлых ярмарок: пряники загусели³³, стали тверже камня, и когда расщедрится мать, кинет девкам по кругляшу, у тех и зуб неймет. Они матери жалуются, а та и радехонька:

– Вот и хорошо, надольше хватит, если помалу сосать. А то на вас не напахать, эки прожоры.

Идет Петра по Дорогой Горе в шубе нагольной обыденной, в беличьей шапке с длинными завязками и в черных базарных катанках до колена. Катанки новехоньки, тверды, как вяленая треска, и не гнутся, а потому идет Петра вперевалку на чужих деревянных ногах.

³³ Загусеть – покрыться плесенью, затвердеть.

А дорога так сочно скрипит под ногами, снега пронзительно-голубые, пересыпчатые, больно смотреть на них; словно бы легким дымом заволокло небо, и над студеным суземьем разлилось багровое пожарище. Далеко слышны одинокие шаги Петры Афанасьича, бухают в ответ заиндевелые избы, осевшие в снега по самое верхнее жило, оконца задвинуты волочильными досками, и кажется, что повымерла Дорогая Гора. Далеко в подугорье на заре-чье уходит голубая дорога, и в самом конце ее скребется с возом сена похожая на собаку лошаденка... Осподи, простору-то сколько. Уж там, за Кумжею, не Расея-матушка, там шальная комариная тайбола. Ой, дико место, темная сторона, зазря земля гибнет. Эх, жизнь, чем дальше, тем трудней. Как-то зятелко в Петербурге птицу нынче продаст, три воза на Пинежской ярмарке взяли дичи, рябчика стреляного да чухаря. Может, и зря доверился, на такие деньги товару. А ну как объедут, тамошним купезам пальца в рот не клади, руку откусят. Ой ловки... Ободрал намерзшие ледышки с усов и бороды, пальцы сразу ожгло морозом, едва отошли в овчинных рукавицах. Еще постоял, глядя в заречную сторону, где небо было мглистым и уже по-вечернему зоревым: нынче светлого дня с воробыный скок. Морозы-то жмут: из озер, поди, всю воду съели. Рыбе-то воздуха ой как нужны, вода с морозу прееет. Рыба сейгод в пролубь сама пойдет, только качай ее. Может, и наведать Сояльское озерко и гнедую кобылу спробовать. Всего-то пятнадцать верст, эко диво. В чащине озерко-то, навряд ли кто прознал его. А што, засиделся я, ей-Богу, засиделся, скоро и дышать не замогу. Уж я ли не ломил работы, осподи, сколько переробил, другому и не снилось эстолько, ночами не сыпывал, а какая-то дикая толщина прет. И с чего бы это?

И тут услышал легкие разбежистые шаги и, еще не оглянувшись, уже знал, что спешит Калина Богошков: только он в Дорогой Горе так ходит, по-птичьи. С той сенокосной поры, когда схоронил мужик бабу, вроде бы и не бычились более, но и при встречах шапок не ломали и долгих разговоров не вели. Оглянулся Петра Чикин будто случайно, да и негоже спиною к встречному стоять. Уж совсем рядом шел вприскочку Калина Богошков, только малица завивалась в ногах.

– Куда, как на пожар? – окликнул Петра.

– Не на пожар, а дело есть, – невольно остановился Калина, пристально глянул из-под пыжиковой шапки.

– Без дела не живем, – согласился Петра, затеивая пустяковый разговор. – Вдовеешь все?

– Как сухое дерево...

– Бабу бы нать, сыну матери. Еще успеешь новых народить. – В зеленых Петриных глазах родился интерес.

– Да как бы не нать-то, дак. Ну ладно, пошел. – И, не попрощавшись, Калина свернул за угол в сторону питейного дома. А Петра Афанасьич еще потоптался в одиночестве, слегка обиженный коротким разговором, и неожиданно подумал: «А чем не жених моей Евстолье? Сопрела девка, ой сопрела. Ей бы в такие годы ребят тетешкать, а она как сыч на лесине. Вот и боршит все, скрипит, будто худое дерево. И это не по ней, и то не по ней. Столько лет над сундуками кряхтела, каждую ягодину продаст, сколько шерсти нарядет – все на людей, все на людей, каждую копейку в сундук упекает. И постели-то новые, и подушечки-то пуховые, а одеяльницы овчинные... Девки-то пустоголовые все на горку, задницей потрясти, кавалера выглядеть, а она не-е, она уж не такая...»

Горделивая грусть тронула сердце Петра Афанасьича: да и как тут не грустить, своя кровь, свои заделки. А и Калина – мужик в соку, пусть борода, да тороват, из своей борозды не выпадет, и парничок растет услужливый, дай Бог, прильнут друг к другу. А изба-то дядькина еще, во всю деревню отличная, с петухами и узорными полотенцами, с красными оконцами по переду. Жених, как о давно решенном подумал Петра Афанасьич и стал мозговать,

с какого бока подступиться к Калине, как ловчее спеленать его, ведь что не по нему, живехонько вспыхнет...

Хлопнул с досады по шубе, опомнился, понял, что вслух сам с собою беседу вел. Зябко передернул плечами, остыл, мороз и под овчины забрался; шевельнул пальцами в рукавице, наследил там липкие пряники. Как пошел, с собой захватил, дай, думаю, своего Петрухича³⁴ угощу перед Рождеством. С узелком по деревне как-то и смутно идти, каждый встречный-поперечный глазеть будет (не подумал, что дивный мороз), потому в одну рукавицу орехов-гнидок насыпал, в другую – пряников расписных. Жонка за спиной стояла, чуть слышно гнусила, голос поднять побаивалась: «Опять своему сколотышу? Андели-андели, блуд творят и греха не скроют. Вот времечко пришло». А Петра только оглянулся, зыркнул зелеными глазищами и словно заморозил бабу: ушла в запечье, осеняя себя крестами, но и оттуда украдкой да следила за мужчиной, считала пряники. А как вышел в заулочек, тут уж не пожалела бранных слов, искостила Петру Афанасьича всякими поносными словами. Девки за пряниками только краснели да повторяли: «Матушка, ты што. Господь с тобой». Августа запричитала у себя за заборкой: «У-у-у, мне дак не даст корочки хлеба зажевать, вечно укорит, а ей-то, сучке, пряники печатные носит. Ой, девки, скоро все добро уволочит от нас, с чем оставит? И словечушка-то ему доброго сказать нельзя, сразу в зубы да сразу по зубам. Разо-ри-тель несчастный, живоглот. Ведь кукушку живую съел».

– От жадности съел-то, бывает, – откликнулась от пряницы Манька, люто невзлюбившая отца. – Пряники печатные, – передразнила она мать, нисколько не боясь ее. – Вон доброто накопили, тысячами ворочает. А она – пряники печатные, дура.

– А тебе-то чего я худого сделала? – оборотила свой гнев на дочь. – Ты тоже хороша, сучка. Думаешь, и не знаю, как с Митюхой Верстой в овине лежала. Бесстыдница, тоже хороша, неча сказать. Кулебяку-то без рыбы испекли, пустую.

– Замолчи! – прикрикнула Манька.

Остальные девки молчали, ждали, которая осилит, к той и пристать. У Маньки мужик, она в силе ныне, может и побороть мать, отнять у нее квашню: хозяйкой станет... А и то сказать, вовсе изгадилась мать, в погребнице эстолько добра гниет, масла коровьего бураки, куда все копит? Но Евстоля не удержалась, для приличия упрекнула Маньку:

– Ну хватит, помолчи, людей стыдно, – сказала и сама не рада стала, что ввязалась, потому как из ветра родилась буря.

– Ей людей стыдно. Гли-ка, девки, ей людей стыдно, – взъелась Манька. – Кто на тебя позарится, сивую ворону.

– Замолчи...

– Я тебе замолчу.

– Замолчи, трясоголовая... Я плоха, да девушка. А ты стелька сапожная: готова перед каждым расстелиться. Думаешь, не знаем, чей грех Михейко-то покрыл?

– Замолчи, корова яловая, – пригрозила Манька.

– Сама молчи, Митюхина подстилка...

И что тут началось: пряницы полетели на пол, вцепились девки в волосы, стали возить друг друга по полу, тузить, куда придет рука, пинать ногами до синяков. Наконец Евстоля взяла верх, распялила Маньку на полу, юбки ей на голову закатала и давай по голой заднице шерстяным поясом охаживать. А мать за ситцевую занавеску спряталась, ухват из подпечья выхватила, качается от страха: «Осподи, и что еще дееся на белом свете? Нарожали детей на свою шею...»

Только Петре Афанасьичу было невдомек, что война в его доме идет: при нем дышать-то боялись, не то слово громкое сказать. В эту самую минуту поднялся он на взвоз к Павле

³⁴ Петрухич – незаконнорожденный сын Петра.

Шумовой, дернул за сыромятный ремешок, и поветные ворота легко распахнулись на деревянных пятниках. Сразу увидел гроб торчком и легко вздрогнул: каждый раз, как видел его, оторопь брала. В другом углу было сметано сено внавал, до самой подволоки, и от него выметнулся парнишка без портков, в одной рубашонке по колена (в такой-то мороз) и в растоптанных материних валенках.

– Клавдя, сынок, погоди. Я тебе што ли принес, – закричал Петра.

Но тот и не оглянулся, перед самым носом дверью хлопнул, только слышно было, как пронзительно вопил в избе: «Мамка, там хозяйнушко рогатый». – «Не ври-ко, чего мелешь?» – «Вот те крест, слышь, скребется?»

Не успел Петра дверную скобу нашарить, улыбаясь чему-то в темноте, как дверь сама открылась, на пороге Яшка с ухватом стоит.

– Фу-ты, хуже черта, – буркнул Яшка сердито, убежал в шолнушу³⁵, слышно было, как швырнул ухват в подпечек.

Сумрак застоялся в избе, волоковые оконца закрыты наглухо, и свет от лучины едва разбавлял темь. У самого порога за перегородкой шумно дышала корова. Павла сидела за столом, с краешка, подле уже примостился Клавдя, болтал ногами, что-то хлебал из миски, тут же вышел из шолнуши Яшка, сумрачный сел за стол.

– Кого это Бог принес? Проходи, добрый человек, – сказала приветливо Павла, вглядываясь в полумрак. – Яшка, ну-ко поднови лучину.

– Здорово-те вечерали, – смущенно откликнулся с порога Петра.

Павла сразу узнала его низкий, простуженный голос, выметнулась из застолья.

– Осподи, Петра Афанасьич, спаситель наш. Да какими судьбами?

– Шел мимо, думаю, дай загляну. Не чужие, бат.

– Скиньте шубу-то, Петра Афанасьич, – засуетилась около Павла, потянула за рукав. – Уж простите, что не признала. Садитесь, отведайте творожку постного. Вам творожок-то порато как по душе будет.

– Хлеб да соль, – поклонился Петра в передний угол.

– Едим да свой, а ты подальше стой, а если волосы крепки, дак за стол садись, – откликнулся Яшка, не сводя с гостя черные непрозрачные глаза. Но не успела довольная усмешка раздвинуть губы, как подскочила мать и треснула деревянным пальцем по лбу.

– Чего мелешь-то, пустозвон? – закричала на Яшку. – А ну, бери Клавдю, и подите на печь.

– Все не так, чего не скажи. Придут тут всякие, дак, – сдерживая слезы, бурчал Яшка. – Иди давай, пивная голова. Вон головизна-то, вся в Петрухича, – дал подзатыльника Клавде.

Слышно было, как шумно они умащивались на горячих кирпичах, тонко гундосил Клавдя, плаксиво отбояривался от брата.

И вдруг Яшка нарочно громко спросил:

– Слышь, Петрухич, отгани загадку.

– Ну...

– Сидит бочка, в бочке пиво: что за диво?

– А бочка не сидит...

– Ну все одно, – нетерпеливо подгонял Яшка.

– Не знаю.

– Заугольник...

– Чего мелешь там, – крикнула испуганно мать, думала: вот сейчас прогневается мужик, уйдет без доброго слова, и тогда Павле и соплюхам ее сплошная смерть. – Думай

³⁵ Шолнуша – место в избе, где обряжается хозяйка.

пустой головой, чего творишь. Уж вы простите, Петра Афанасьич, не держите на него зла. Вся спозорилась, откуда и слова экие берет.

– Да полноте, – отмахнулся Петра, в душе решая больше не заходить сюда. – Порода уж така, отцова порода.

– Верю всякому зверю, погожу – ежу, – не отступался Яшка.

Мать сдернула с ноги опорок, кинула на печь:

– Заткнись...

Наконец Яшка уgomонился, перебрался на полати, свесил кудрявую нечесаную голову, уставился ночными глазами в Петру.

Тот сидел молчаливый, цедил сквозь пальцы редкую сивую бороду, рассыпал ее по кафтану.

– Тяжело тебе с има, – вздохнул тяжко, оглядывая Павлу: и подумал внезапно, что с годами баба словно бы молодеет, иль, может, сумерки да живое пламя лучины красили ее? Щеки круглые, плотные, пальцем не продавить, глаза тоже округлились под короткими бровками, и зуба ни одного не растеряла. А уж вроде бы отцвела, отжила в вековухах без мужней ласки, без хозяйского догляда.

– Тяжело тебе с има, – еще раз повторил Петра, испытывая вдруг к бабе забытое желание, и тут же тайно упрекнул себя: «Осподи, чего тебе, жеребец эдакий, надо еще. В твоих ли годах грешить. За спасение души молиться надо».

– Как не тяжело-то. Они жилы мои на кулак вымотают, неслухи, – согласилась Павла.

– Да, с разговорами-то... Ну-ко, Петрухич, иди сюда, я тебе гостинец дам, – поманил Петра сына.

А того дважды звать не надо, скатился с печи, чуть ноги не сломал, подбежал, острые зубы ощерил и зеленые в мелкую крапинку глаза уставил нахально:

– Больше дай-ко...

– Вот тоже мужик, никакой совести, – пробовала устыдить Павла.

– Да малой еще... Пойдем ко мне жить? – Петра насыпал Клавде в подол орехов, пряники отдал Павле. – Гостинцем тут...

– Откупиться хошь? – вдруг подозрительно спросил с полатей Яшка.

– Господь с тобой, дитя, какие слова говоришь, – удивленно споткнулся Петра, а сердце у него больно кольнуло.

На полатах сумерки были еще гуще. Яшкино лицо расплывалось, и видны только его смородиновые глаза и широкие отвислые губы. И в какой-то миг показалось Петре Афанасьичу, что лежит там разбойник Степка Рочев...

– Слышь, Павла, отдай-ко мне сына, а? – вроде бы в шутку предложил Петра, но от Павлы не скрылся тот интерес, с каким посмотрел он на Клавдю.

– Ты што, ты што, – замахала она руками, побледнела и сникла на лавке.

– Да пошутил я, ну ладно... разговоров не оберешься, – вяло засмеялся Петра, но Павлино сердце уже тревожно зашлось, ведь ей ли не знать мужика.

– Которого сына-то? – еще хотела оборотить все в шутку.

– Петрухича, свово. Наследник будет...

– Не бывать курице петухом, а Петрухичу богачом, – опять поддел с полатей Яшка.

– Языкан ты, ой языкан, – перевел разговор Петра.

– Уж какой есть, не обратно и лезть, – не отставал Яшка.

– Воистину...

Тут пальнуло в углах, мороз сажил избу, и невольно все притихли, прислушались, что делается на улице: по угору проехали розвальни, визжали на раскате полозья, твякнула собачонка, захлебнулась морозным воздухом, и опять все стихло.

– Садит морозина...

– Палом палит...

– Лед-то, поди, саженный, рыба без воздуха тоскует. Ее нынче руками брать. А што, а? Да ведь и то... Слышь, языкан, собирайся. Рыбы матери привезешь, – вдруг сказал Петра как о давно решенном и невольно глянул вверх, на полати, откуда свешивалась злая кудрявая голова.

– Да куда он, – ответила за Яшку мать и тут же засуетилась: – Ой, Петра Афанасьич, радетель вы наш. Уж не заморозь там сынка-то. Не знаю, как отблагодарить. Возьми, возьми парня-то, а я уж отроблю. Он услужливый, он только на язык дерзкой, правда, Яшенька?

Яшка промолчал, уполз в дальний угол полатей, заворочался в окутках, в старом тряпье, и вдруг на пол полетели засохшие порты, холщовые онучи, балахон из крашенины...

Собирались выехать другим днем, да морозы попридержали, до самого Рождества палом палили, даже дерева не брало кованое железо: топоры крошились по самый обух, – это ли не диво. Но в самое Рождество сникла стужа, обложило небо от кромки до кромки черной слоистой тучей – самое время трогаться.

Когда съезжали со двора, выскочила из дверей Тайка, гибкая, будто ивовый прут, льняная коса выбилась из-под плата. Закричала, становясь на полоз и толкаясь катанком о снег:

– Татушка, дай подъехать...

– Поди, поди прочь, – оглянулся Петра Афанасьич, легко стегнул ременкой, но девку не достал. – Не моли худа на дорогу.

– Ну, татушка, жалко, да? – стала канючить Тайка, обежала кругом, а лошадь еще не набрала шага, фыркала в лицо девке, словно не знала, как поступить, и остановилась совсем, сонно хрупая сено.

– Во невеста-то растет. Ты слышь, Яшка, про тебя растет...

– Больно надо, холера – не девка, – откликнулся парнишка и потупился, а Тайка одной ногой уже встала на оглоблю, по-мужичьи махнула на кобылью холку у самой дуги, впилась пятками в лошадь. И тут-то Яшка не утерпел, показал себя.

– Эй, не натри, рожать не сможешь...

– Замолчи, губастик-головастик, – сердито огрызнулась Тайка, зло сверкнула зелеными кошачьими глазами, но селась уже по-бабьи – ноги на одну сторону: поставила катанцы на оглоблю.

– А ну слазь, чего выдумываешь? – вдруг закричал Петра. – Вожжой захотела? Разве девке можно верхом?

– Ну, татушка, чего ты...

Петра сделал вид, что собирается подняться, и Тайка, услышав сердцем отцов гнев, испуганно прынула вниз, зацепилась одной ногой за оглоблю и головою упала в снег: юбки задрались, ой грех-от.

– Чего нашла-то, на двоих делим? – насмешливо спросил Яшка, но тут Петра Афанасьич хмуро поторопил кобылу кнутом, пристывшие розвальни дернуло, и молодая лошадиная нерастраченная сила быстро повлекла их в подугорье, но парень еще успел показать Тайке язык и соорудить из пальцев кикимору.

Верст пять до Голого холма ехали накатанной дорогой, Петра Афанасьич то и дело по-совиному крутил головой, вспоминал приметку. Высохшую сосну с развилкой посередке едва разглядели: за эти годы она как бы осела, обросла по стволу зеленым мхом, затерялась среди молодого ольшаника. Раньше тут сбегала торная тропа на соседние Синюхины озера, и даже лошадью забирались в суземье, но сейгод лес стоял в снегу по самую поясицу. Тихая жила тайбола, настороженная; черный, обтаявший за эту ночь ельник уходил куда-то круто вниз, и ни один птичий или звериный шорох не наплывал из тоскливой глубины.

– Осподи, не дай напозориться, – сказал Петра вслух, но подумал: попреть придется, к утру бы попасть. От тайных мыслей повеселел даже, вспомнил себя молодым и лютым

на работу. Тяжелые одежды сразу скинул в розвальни, чтобы понапрасну не потеть: надели лыжи-кунды и стали торить лыжню. Пятнадцать верст маеты впереди и все снегом-пльвунном, зыбучим, готовым утопить с головой. И как заведенные закрутились мужик и парнишка взад-вперед, торя для кобылы путик.

Еще впотемни бились как проклятые, отдыха не знали, позади себя оставили распадок: если мороз падет, снег закипит-заплавится, обратно легче будет ехать. Когда уже на ощупь пошли, Петра кобылу распряг, ее жалко стало – не себя, обтер попонкой, сверху оленье одеяло набросил, в зубы сена охапку кинул. Уж потом только отоптал под елью снег, сушину свалил, как-то еще видел в кромешной тьме, вот лешак-то, а может, снег давал отблеск; раз-делал сушину на два длинных чурака, высек на одном паз, на другом – стружкой нашерстил, накатил стенкой бревешки – вот и нодья готова. Будет костер жить до утра, и никакой мороз не пробьет, и жарко станет, как в бане хорошей, хоть верхнюю одежду до белья-рубахи снимай. Трутоношу из-за пазухи вынул, из кожаного мешочка добыл железное кованое кресало да кремь, на берестяной трут пошептал что-то, сплюнул в сторону, потом сказал громко: «Царь-огонь, достанься: не табак курить – каши варить». Скребанул кресалом раз-другой, высек в трут крохотную искру, раздул ее до белого огня, сунул берестяное кольцо, а от него уже затрещала сушина, и желтое радостное пламя раздвинуло темноту. А Яшке было все безразлично, так умотался он, выгорел весь за длинный походный день, кажется, что и слова человеческого сказать не в силах: вот упал бы сейчас в розвальни, сверху овчинным одеялом запахнулся – и пропади все пропадом до самого рассвета. Но как тут ляжешь, если сам хозяин вершил работу, словно усталь его не брала: и сквозь распухшие сонные веки смотрел Яшка тупо, как Петра Афанасьич приспособил над огнем рогульку, повесил медный котел, быстро растопил воды, понес лошади; слышно было, как насвистывал, позывал кобылу на питье, а гнедуха фырчала впотемни, шумно цедила воду, и в животе у нее гулко екало.

А Яшка, еще недавно весь потный, стал вдруг быстро остывать, спину охватил озноб, но лень было шевельнуться, чтобы взять из саней шубу и накинуть поверх. А Петра то вырастал из темноты, будто волосатое привидение с белыми водянистыми глазами, то сидел на корточках возле костра, заново набивал снегом котел, кряхтел, подгребая хворост на нодью, и от его согнутого тела валилась на снег уродливая тень. Пламя выхватывало из тьмы несколько черных стволов и задыхалось, отражаясь от мрака, как от стены. Яшка смотрел в ровно гудящий огонь (еще подумал: к морозу, не иначе), глаза у него слипались, и парнишка не знал, уже спит ли он или грезит, а налитые усталостью ноги истомно ныли и еще порывались куда-то идти, ширкая лыжами.

– Эй, Яшка, чай пить, – совсем рядом раздался голос. Яшка беспонятливо открыл глаза, перед ним стояла оловянная дымящаяся кружка, а Петра Афанасьич, наклонившись, совал в руку кусок рыбной кулебяки. – Эк, парень, как тебя вымяло.

Петра сел на чурбан, ноги у него тоже поламывало, шумно фыркал чаем, порой глядел на парня, как тот лениво цедит из кружки сквозь зубы, сонно ломает кулебяку и не столько ест, сколько сыплет на снег. Вдруг шумно захрипела кобыла, встала на дыбки. Серая тень скользнула в полумраке, куда едва хватал свет костра, туго обвалилась с ветви на ветвь снежная кухта, и вслед за этим всплеском раскатился такой высокий и тоскливый вой, что Яшка вспотел от неожиданного страха и проснулся окончательно. Тут же другой волк отозвался за спиной, кобыла всхрапывала пугливо, прыдала ушами и глядела на людей малиновыми от пламени глазами. Петра Афанасьич вскочил, запалил от нодьи смолистый, обвешанный моховой бороною сук и кинулся навстречу бесшумным теням, размахивая и расплескивая огнем. Волки отбегали неохотно, по-собачьи становились у ближних деревьев, и жутким зеленым светом горели глаза под тяжелыми лбами.

Хоть и жаль было тратить огневой припас, но пришлось доставать кремневку. Яшка мысленно торопил Петру, а мужик медленно снимал с замка кожаный чехол, потом забил в

ствол пулю, насыпал наконец на полку меру пороха из коровьего рога и еще долго не стрелял, выцеливая самого нахального и крупного зверя, который вел всю стаю. И тут один волк вырос из темноты сажень в пяти, не больше, и нескольких хороших прыжков хватило бы ему до горла кобылы.

И пришлось Петре стрелять. Было видно, как зверь опрокинулся на спину, будто мешали ему надоедливые блохи, потом перекатился на брюхо и потащился во тьму, загребая снег передними лапами; еще раздалось в ночи сварливое жестокое рычание и чавканье, это волки раздирали своего собрата, наедались горячим мясом.

– Ты ложись в сани-то, поспи, – сказал Петра, остывая от возбуждения, когда затих ближний лес и понурился.

– Не-ка, – отказался Яшка. – Какой тут сон, если только закрой глаза – и голову начисто отгрызут.

– Ложись, говорю, экий ты несговорчивый, – настаивал мужик.

Пришлось смириться и лечь, внутренне напрягаясь душою и давая себе слово даже не дремать. И чего уж никак не ожидал Яшка, Петра Афанасьич накрыл его овчинным одеялом и подтыкал с боков. Волна расслабленного тепла и спокойя нахлынула на парнишку, и он уже почти с любовью подглядывал, как сидит на корточках возле нодьи хозяин и греет над пламенем лопатистые черные руки с длинными железными ногтями и порой бьет себя по коленям, смахивая искры.

– Видать, к морозу, – сказал Петра, показывая пальцем на звезду, нависшую над светлеющей тайболой и похожую на остывший уголь. И, помолчав, спросил: – Яшка, ты пошто от меня рыло воротишь?

Яшка смолчал, притворился спящим, а может, и спал уже, еще не зная о том: он вроде бы хотел даже сказать что-то, но губы словно склеились и не разжать их, а Петрины слова не трогали и наплывали, как сквозь воду.

– Люди добра не понимают. Если поглядеть по рассуждению, так я, может, до вас расположение имею. Знать, Богом до вас приставлен. Осподи, ангеле мой, хранителе мой, сохрани душу мою, скрепи сердце мое...

Но мороз миновал, сырая хмарь нависла над тайгой. Совсем замаялись, когда к полудню с матюгами и Божьей милостью добрались до нагорных боров: там и снегу было не в пример меньше, ветрами сдувало его в подножья, да и лес стоял чистый, и свежий воздух ходил по горе. Внизу петляла таежная речка, вровень с берегами забитая снегом, и туда спускаться поопасались: можно захлебнуться в заносах. Наконец Петра разыскал на соснах заплывшие коричневые затеси; сползли с холма, трудно продрались через мелкий березняк и оказались возле небольшого озерца, – на дальней стороне его клубился ивняк, наискосок к нему стелилась по снегу лиса-огневка, наверное, доставала куропатку, а еще дальше, в мутном просвете, виднелось другое озеро.

Все было так знакомо и близко Петре, будто вчера он промышлял здесь, и в душе его родилось удовольствие и беспокойство. Мужик начал спешить, торопил Яшку, чтобы тот поскорее распрягал кобылу да обиходил ее, а сам деревянной лопатой разгребал лесовую избушку, лабазный верх которой едва виднелся подле громадного выворотня. Снег здесь, на открытом месте, уже слежался, и Петра нарезал его высокими кирпичами, складывал подле, и получалось у него что-то вроде сеней. Потом топором зацепил примерзшую дверцу.

В избушке ничего не изменилось: в углу крохотный камелек из черных голышов-камней, у стены широкий из плах примост, и посередке вместо стола – необхватный пенё. Старый еловый лапник выкидали вон, наломали свежего, закрыли мороженный пол, заволокли весь походный скарб, ползали на коленках, словно малые дети: только так можно жить в лесной избушке. Яшке было смешно глядеть, как кряхтит, напрягаясь, Петра Афанасьич, широкий, как избяная печь; кафтан-шойданник задрался на спину, и брюхо провисло к земле,

будто у тяжелой коровы. Мужик пыхтел, но так и не присел на место, пока не перетаскали все. Потом поели чего Бог послал – ржаного каравая краюху да холодной трески, запили квасом из туеса. Петра Афанасьич прилег и, глядя в низкий накат, по-хозяйски подумал, что пора бы и новую поставить зимовку. Эту еще с отцом рубили в один день, дождь непроходной лил, спасались: вот и стены не пазили, не мшили и крышу крыли лабазом, наскоро накатали тонких бревнышек да лапником закидали. Вроде бы и смехом делали, а стоит и стоит, ничего ей не делается, ведь и отца уже пятый год как нет в живых.

Наверное, надышали: в зимовке вдруг запахло ожившей хвоей, из дальних углов потянуло весенней прелью, грибами. Петре неожиданно взгрустнулось, он скосил глаза в угол, хотел еще что-то сказать Яшке, и с этой грустью в душе и с открытым ртом заснул и так тяжело и громово всхрапнул, что мелкой пылью посеял через крышу снег. Яшке тоже стало сонно, и он только собирался перекатиться через хозяина к стене, как Петра Афанасьич уже открыл глаза, почесал живот: «Вот и слава Богу, обманул сон-батюшку. Пойдем, оглядимся, што к чему...»

Насунули лыжи, скатились на озерину. По той стороне опять прошла лиса, не пугливо скрылась в ивняке, и тут же, голгоча крыльями, поднялась стая куропаток и упала за первым мыском.

– Не родись богатый, а родись кудрявый, слышь, Яшка? – весело сказал Петра, обегая взглядом посмурневший лес и пологие бережины, примечая на снежных увалах звериную жировку.

– Ты-то уж кудрявист, – насмешливо согласился Яшка. – Волосина за волосиной торопится с дубиной.

– Языкани, тебе слова лишнего не скажи... Побалуемся, а? – спросил, не обидясь. – Потее-шимся нонь на глупой рыбалке. Тут ведь дикие места, тут уж не Расея-матушка, а дикость одна, даже зверь человека не чуял уж годков пять.

Яшка промолчал, но душою загорелся весь, даже кончики пальцев на руках щемило от восторга, когда видел частое узорочье следов: куньи пробежки, мелкий горносталев скок, неторопливые лисьи ходы – вот сейчас бы рванул в суземье и расставил кляпцы, навесил удавки.

– Лошадь-то запарил, а вот чего достанем, один Бог знает, – бормотал Петра, высматривая какие-то свои приметы: то колесил от бережины до бережины, – знать, выглядывал приглубые места, то начинал отгребать снег лопатой. – Рыбалка-то глупа, да повезенка. Тут уж как повезет: можно за двое ден столько рыбы взять, сколько и неводом двадцати чело-векам не огрести будет... Глупа рыбалка, да без головы никак. Срок рыбе знать надо, когда заскучает она без воздухов, тогда ее и бери.

По старым приметам он нашел приглубое место; вдвоем скидали в сторону снег, целое затулье получилось – выше человеческого роста. Петра Афанасьич пешней постукал о лед, побежали первые паутинки, будто треснула оконная слюда.

– До рубахи скинывайся. Аршина два лед-от... Осподи, пошли удачу. Да лоб-то окрести, нехристь.

– Чего пристал, сам-то каков, – огрызнулся Яшка, но мужик смолчал. Стоял лицом на восток с непокрытой головой, крестился мелко:

– Святые апостолы, Петр, Павел, Андрей Первозванный. Верховные апостолы, первые рыболовы, помолитесь со всеми святыми угодниками Пресвятой Госпоже Богородице. Есть на святом престоле ключи золотые: возьмите эти ключи и отоприте темный погреб рабу Божьему Петре, пригоните мелкой и крупной рыбы рабу Божьему Петре...

Прав был мужик: воздух навис густой, застойный. Раза три взмахнул Яшка железной пешней и взмок, пришлось сбросить балахон. Петра Афанасьич колотился в одних белых портах да в белой же рубахе до колен; медный крест на гайтане выбился поверх ворота,

борода пепельная рассыпалась. Он бил пешней тяжело, хукая всей грудью, приседая в коленках, рыхлые щеки побагровели и налились кровью. Что-то медвежье виделось в покатых плечах и крутом загривке и косолапых ножищах. Пешня звенела, готовая надломиться в держак, ледяные осколки стреляли в небо, и Яшке, шедшему следом, приходилось прятать лицо.

– Вот как, да ишо воно как, – бормотал Петра на каждый удар.

– Зачем такую-то майну³⁶ долбим? Бывает, не на лодке и плавать, – зажалобился Яшка.

– Впервой, што ли?

– Ну да...

– Тогда помолчи, прости осподи. Слушай, сказать тебе сказку? – остановился Петра, уставил на парнишку зеленые хмельные глаза, будто с перепою мужик. – Связать тебя в вязку, бросить под лавку, лежать тебе три дня, и съедят тебя мухи с комарами.

– Я бы тебе тоже сказанул, да не по нраву буде...

– А ты речист, это мы слыхали, – согласился Петра.

– Донька Богошков и поболее моего знает, – похвастал Яшка.

– Ты тоже голован. Сколотыш, а бойкий, весь в татку. Расти скорей, за Тайку отдам, – сказал Петра Афана-сыч и осекся... Дурья башка, чего втемяшилось, намолю, ей-Богу, намолю недоброе. Молча казнил себя Петра и уже зло шумнул на парня:

– Ну, хватит прохлаждаться. Не на госьбы, долбарь хренов. – И удивился вслух, отставил пешню, оглядев Яшку с ног до головы: – Одно диво, пошто я твои пакости терплю? Ведь сопленос, прости Господи, давно ли портки стал носить, а вот терплю.

Яшка что-то хотел возразить, но Петра Афанасьич, суровый и надутый, не дал и слова сказать:

– Помолчи нито, хоть раз загунь...

И опять пошел по кругу, выламывая пешней добрые краюхи льда, порой брался за лопату и выбрасывал крошево через затулье, но уже далеко заглубились: майна была Яшке по плечи, аршина два вглубь, и лед с тихим шорохом порой скатывался обратно. Вскоре Петра прогнал парнишку и стал уже осторожно, вполсилы прикладываться пешней, и когда железное копьё провалилось и в середину майны пролилась рыжая, дурно пахнущая вода, мужик спешно выбрался наверх.

– Киснет вода-то, ой киснет. Воздуха пробьются подо льды, и тогда рыбы, што дети малые, любопытные сделаются. Осподи, благослови удачу. – Петра сбивал на затылок вязаный колпак и, стоя на четвереньках, высматривал что-то в неторопливой воде. Вдруг схватил сак и вытащил маленькую сорожку, подцепил ее железными ногтями под жабры. Рыба вяло поднимала хвост, а Петра для видимости пущей стегал ее пальцем и приговаривал: – Пошли отца, пошли мать, пошли тетку, пошли дядю, пошли бабку с дедкой и всех свояков до десятого колена. – И бросил обратно в майну, а рыба-сорога, вильнув хвостом, ушла на глубину.

– Теперь гостей жди... Ну, пошли, солнце на самый обед стоит-маревит, знатье нам дает, что поесть пора, – распорядился Петра.

– Это уж так. Работают-работают, да и едят, – по-взрослому рассудил Яшка. Парнишка, совсем ребенок еще, а голову несет высоко, куда там, мужика из себя строит. Но под носом растеплило, и Яшка невольно заширкал рукавом.

Сытная еда свалила малого, и Петра один навестил майну озерную, а там, осподи, сила небесная, вода кипит от рыбы. И снизу в узкую сквозную дыру прут и прут одна за другой головастые щуки, черные озерные окуни и красноглазые сороги: уж так им захотелось глянуть на белый свет. И щукам, вечно голодным, с зубами-острогами, теперь не до окуней: наглотались они свежего воздуха, походя проглотили по паре рыбешек, прочистили жабры,

³⁶ Майна – прорубь.

и теперь бы в свое удовольствие обратно в озеро, даже в самую красную пахучую воду, но не добраться до нее, потому как узкая сквозная прорубь, раза в два потолще пшени, уже не принимает их. Рыба саму себя имала.

Вот и облукавил Петра водяного хозяина: это уж редкая удача, чего там скрывать, и мало кто решается на такой промысел. Но ведь повезло: вот уже воистину, где живет, там и петух кладется.

В первый же день начерпали из майны два воза рыбы, решили пока погодить, дать себе отдых и потешиться охотой. Наутро Петра ушел на боры пострелять птицу, может, и белку взять, а Яшка на той стороне озера, где постоянно жировал куропись, насторожил на звериных тропах три кляпца – деревянных капкана. Дымом обкурил их еще в зимовке. И рукавицы-исподки, вязанные с одним пакулем для толстого пальца, тоже обдымил, чтобы ловушка человеком не пахла. Затаил капканы в лесу и след свой замел, но сразу не ушел, в кустах посидел осторожно: все чудилось Яшке, что вот-вот выкурнет рыжая собака-лисовин и пойдет мести хвостом, а тут и прижмет ее кляпец острыми шипами. Прибегут лисы-сиво-душки, вот и будет матушке для шубы опушь богатое. Приеду и скажу, пусть шьет, неча дурнее всех ходить. Господи, дай рабу твоему Яшке Шумову всякого зверя...

Зверя лесного облукавить одного азарта мало, – навык нужен. Мимо кляпцев шел Петра Афанасьич, ухмыльнулся только, за версту зверь стороной обежит. Принес с охоты лисовина косорылого да двух белок, жалел очень, что не прихватил с собою кляпцы или петли волосяные на куну: хитрый зверь, его на ружье не возьмешь, без собаки из норы не выманишь. И у парнишки отбирать капканы засовестился, пусть побалуется.

А Яшке всю ночь не спалось, маялся парень, то и дело выползал будто по нужде, стараясь усмотреть что-то во тьме. Луна прорезалась робко, не больше рысьего ноготка, но снег под ее светом был особенно искрист и холоден. Тускло блестели ближние стволы сосен: к морозу большому покрылись тонкой корочкой изморози, но дальше в прогалах дышала и настороженно шевелилась страшная темь, сразу становилось как-то не по себе, и, намерзнув, Яшка уползал обратно, заваливался к бревенчатой нахолодевшей стене и будто слышал, как мечется в кляпцах лиса, обгрызает зубами деревянный лучок. И не уследил Яшка, как заснул и проспал все на свете.

Поутру вышел мужик из зимовки, глянь, у майны, у самой проруби лиса распласталась по снегу, словно бы рыбу караулит. Петра сразу в избушку, за ружье, ноги в лыжи сунул, дай, думаю, в угон возьму зверя по свежему следу, а лиса бежит и вроде бы хвостом ширкает позади себя, бьет в нетерпении. Жахнул из кремневки по зверю – лежит; вот удача, радовался Петра, подбегая, а лиса кляпышем к деревянной колоде за голову прижата, а он-то, дурило, хорош тоже, заряд спортил. На глупого зверь-то, на глупого, досадовал мужик; а хороша, ой хороша огневка-сиводушка, хвост распластала на целый аршин. Но не взял, грех чужой капкан грабить, хотя какой чужой-то, ежели размыслить, на моих хлебах парнишко, от одного котла кормимся... А душа у Петра Афанасьича уже стонет от зависти, невольно поспешил, против воли побежал через ивняки, в густой ельник, где вчера еще одну ловушку видел. И там зверь, вот на глупого удача – грызет себе куница лапу, – видно, только что угодила, не успела сбежать. Сразу распахнула черный роток, мелкие зубы ощерила, в глазах злости, как в медведе-шатуне. Петра верхоньку – мохнатую рукавицу – сунул в пасть рыжей кошке, а второй голой рукой за шею прихватил, только хрумкнул позвонок, и глаза остекленели у зверушки: хороша куна-белогрудка, редкая такая уловится.

Заново насторожил капкан, теперь будто свой уже, на звериный ход поставил: хватит Яшке баловством заниматься. У майны на озере лису подобрал; до берега не докатился, Яшка навстречу, шальной, ничего толком не видит.

– Куда разбежался-то, эй? – окрикнул Петра. И Яшка словно споткнулся. – На, уловил чего. На глупого зверь, – кинул парню лису, чуть не заревел слезами от собственной доброты

и будто прочитал Яшкино желание. – Мамке на шубейку... Еще промыслишь – и богатое опушь, больно богатое.

– А ты как думал: малой, дак кривой? – растаял Яшка, засмеялся блаженно. – Мамке, я уж мамке... Ты, Петра Афанасьич, донеси до избы, а я сбегону. – Поправил ножны на поясе, встряхнулся, как воробей, затягивая потуже кожаную опояску на балахоне.

– Ты куда направился? – Петра понял, что таиться поздно. – Вот, кунка. Хоро-о-ша... На глупого удача.

– Да ну... Ну-ко, дай, – протянул руку Яшка.

Но Петра только встряхнул куницу перед носом и убрал за спину.

– Моя будет, – твердо сказал мужик. – Из моего котла ешь, – и замолчал. На оперханном от морозов и ветров лице зеленые глаза стали тяжелыми. В зимовке также молча ошкурил куну чулком, распялил, повесил к потолку.

– Отдай куну-то, ворюга, – ныл Яшка, не решаясь подойти ближе.

– Загунь! Я тебе покажу ворюгу, осподи, прости раба твоего. Я тебе шкуру сейчас сдеру и распялю, сволочи такой, сколотыш поганый. Может, еще убьешь меня из-за зверюшки? Да подавись ты ею, только чтобы глаз мой тебя не видел тут, куда хочешь девайся...

– Ну и давай, все одно ворюга, – не отставал Яшка, но отполз ближе к выходу, и весьма вовремя: тяжелый катанок просвистел около носа.

– На, подавись... Еще хочешь?

– Чего дерессе, мамке скажу, – хитро заревел Яшка, и большие прозрачные уши его встали торчком. – Си-ро-ту ведь забижаешь, побойся Бога.

– Ему куну жалко, вишь ли, зверюшку погану жалко благодетелю своему. Нет бы сам поднес да в ножки упал, на, Петра Афанасьич, ты мне вместо отца, – успокаиваясь, бормотал мужик. – Ну-ко, готовь выть, да штобы у меня... Больше ни слова торчком, а то забью. Хватит чичкаться.

По тону его Яшка понял, что гроза миновала, но ему до смертельной обиды было жаль рыжей зверюшки, которая распяленно висела над Петрой и хвостом едва не доставала до его лица...

Яшка выскочил вон, чтобы воздуха свежего хватить, и что-то приглянулись лыжи-кунды. Стоят подле, воткнуты в снег торчком. У Петры самоходки широкие, подбиты каму-сами-шкурами с лосиных ног, с ремнями из нерпы: таким лыжам износу не будет. Мозолят лыжи глаза Яшкины, плюнул на них, обратно в зимник уполз, уху снял с камелька. Хотел позвать хозяина есть, а тот в обе свистульки заливает.

«На охоту ведь собирался, – подумал парнишка. – Порато хорошо охотиться с чужих-то ловушек. Пусть-ко попрееет». Оглядываясь на спящего мужика, выполз из зимовки, обе лыжи надрезал, шкуру по ворсу загладил. Вернулся, не глядя разбудил Петру, так же молча котел поставил на чурбан, раза два хлебнул, положил ложку в сторону. И Петра ни слова не сказал, собрался, пороховницу через плечо перекинул, мешочек с пулями пристегнул к поясу. Яшка следом выполз, горносталякой смотрит на мужика: вдруг заметит Петра, тогда-то ой-ой...

Что будет потом, Яшка пока не думал, а только подглядывал сквозь хищный прищур глаз и наливался холодным пугливым восторгом. Но Петра сердито бросил кунды, вдел ноги в ремни, поправил сбившуюся на живот пороховницу и целиной, нетронутым хрустящим снегом, пошел к щелье на ту сторону речки.

И только глядя в напряженную ходьбой Петрину спину, Яшка спохватился, какую беду натворил, хотел крикнуть вослед, упредить мужика, но горячка еще не прошла и злость упрямо держала сиротскую душу... «Пусть, пусть попорхается куропаткой, – мстительно думал Яшка, провожая взглядом хозяина, – а мы поглядим, во весело как будет. Полверсты, не боле, пройдет – воротится, злостью-то захлебнется, глотана...»

Как испуганный глухарь, Яшка полез в зимовку, кулебяку рыбную сунул за пазуху да полкаравашка ячменного ситника, туда же смахнул звериные шкуры, потуже затянулся кожаной опояской, еще сгоряча выскочил из зимовки. Услыхал надсадистые хрипы, подумал, что с лошадей плохо, нет, стоит, жует из торбы овес. И вдруг в прогале меж деревьями показался лось не лось, медведь не медведь, но какой-то зверина дикий. Догадался Яшка, что Петра далеко не ушел, подвели его лыжи, вот сейчас и барахтается в снегу.

Стало парню так тошнехонько, что в животе засосало и горло будто арканом сдавило... Осподи, пронеси, пошутил ведь я. Ну, побаловал, с кем не бывает. А Петра уж совсем рядом, закидана снегом его пепельная борода, безбровое щекастое лицо готово брызнуть кровью, – так гневен мужик. Было из сил выбился, сел в снег, потом встал, хватаясь за дерево, не кричал, хрипел:

– Ну погоди, тать безродная. Он шутить задумал, сколотыш вонькой.

Мужик задышался от злобы и напряжения, напирал грудью на рыхлый снег и почти плыл в нем. И в этом хриплом голосе, задушенном нестерпимой злостью, Яшка услышал такой гнев, что устрасился его, видя себя уже распяленным на этих деревьях и застывшим, с исклеванными вороньем глазами. И, боря страх, Яшка закричал против своей воли, уж такая у парня натура:

– Эй, глот, кукушку живьем съел. Вэ-э, кукушку живьем съел. Вот-вот, потряси-ко пузоту хорошенько...

И бросился в лес, не теряя, однако, торной лыжни, заплакал, тоскливо озираясь вокруг: «Злыдень несчастный, я еще тебе покажу». Оглядываясь, увидел, как следом по тропе идет Петра, машет кулаками, – видно, сорвал голос и хрипит что-то нераздельное. И понял тут Яшка окончательно, что в зимовку ему возврата нет...

Глава вторая

Года не хлеб – сами родятся, да только вкус от них горький. Недолго от чужого счастья щипала Павла крохи, но с того сладкого греха еще один рот появился в избе – Клавдя безродный. Головастый, нос тяпушкой, вылитый Петра Чикин. Сидит за столом, глаза болотные насупит, нажористое дитя растет, никак-то его не прокормить. Будто кукушонок разевает рот, лупит по столешне кулачками и вопит:

– Ись хочу...

– Да загунь ты, ненаеда. Давно ли ел-то, осподи, как с полатей подняла, целую кринку молока смолотил, – ворчит Павла, оглядывая посторонним взглядом избу.

Из пятника, круглой дыры в стене, достала деревянный чурбачок, чтобы дым выкатывал вон. Двери распахнула, наставила поддверки, чтобы мороз не валил низом, иначе избу век не натопишь... Осподи, надо бы на реку сбегать, проруби пешней подновить, небось схватило стужей. Яшкино то дело, уж которую зиму наблюдает за майнами, прорубями, пролубником он на деревне, людишек да скот водой обеспечивает. Каждый воскресный день идет по Дорогой Горе, колотит в избы батогом, кричит: «Пролубнику... Крива рука просит, пряма подает, кто подаст, тот хороший князь, а кто не подаст – подпорожна грязь». Нападают хлеба, да калачей, да шанег полную берестяную корзину – на всю неделю еда. Нынче самой Павле пришла нужда идти по Дорогой Горе, стучать в стены батогом, да у нее уж так не получится, не знает она красного словца, язык-то у нее не так прилажен, да и стыд мучает. Словно бы старица-нищенка милостыню просит. А она ведь из хорошей семьи, когда-то и Шумовы сыто жили, масло коровье в избе не выводилось и в мясе птичьим или скотским нужды не знали. А не дал только Бог счастья: не зажились парни в отцовском доме – кто в леса подался, кто в Питер на приработки, да там и помер от чахотки, кто свое хозяйство повел, вот и рухнул шумовский род. Остались старик Захарий да девка его Павла.

Еще первое время хорохорился, меньшего сына из рекрутов выкупил, триста рублей серебром отдал: в долги вошел на три года, а он, Мишка-то, хвостом вертанул, а где сейчас – ни слуху ни духу. Гонористый был Захарий, и, может, через свой характер обрезал он Павлину жизнь. Было девке шестнадцать годков, посватались в первый раз, а Захарий наотрез: «Уж не отдам девку, она мала еще, глупа, не на то я растил ее, чтобы сразу из дому сбывать. Пусть поживет-потешится». Правда, уж какое тешенье девке, если весь дом на ее плечах. Но, как говорят, суженого конем не объедешь, да и отцу не расчет девку в доме квасить. Через год посватался Тимоня Заречный, косоротый парень, но из богатой семьи: знать, работница запонадобилась, а Павла уж тогда в кости была широка, сарафаны лопались.

Пришел Тимоня Заречный со сватами, еще на пороге нос на сторону завернул: душной запах в избе. Заметил Захарий кислое лицо жениха, насупился в душе, но виду не показал. Зарученье своим ходом двинулось, сват жениха нахваливает: парень-то красавец и дом от богатства ломится. Уж не по одной чарке опрокинули, Богу помолились, перед образами свечи зажгли, икону сняли, чтобы благословить, и спросил тут Захарий у жениховых родителей: «Любо ли наше дитя?»

– А не любо бы, дак и не брали бы, – учтиво сказали старики.

Только Тимоня опять губы скривил и фыркнул:

– На рожу, правда, не то чтобы писаная...

Может, хмель охватил Захария, да и не мог он такого стерпеть, чтобы его дочь-то прилюдно поносили, схватил Тимоню за шиворот да хорошенько потряхнул, выпнул за порог.

– Ах ты морда косорылая, уродина криворотая, – заорал, – нашу девку хулить? Нету у нас невесты для вас.

– Уж не такой товар и хранить, – заикнулся было женихов родитель. Но ему и слова больше не дали сказать, под руки вывели невестины дружки. А на дворе поезжане заворотки у саней подрубили, вожжи у лошадей обрезали, супони ополовинили; в розвальни животину не запрячь, кое-как кушаками от праздничных кафтанов подвязали оглобли и долой со двора.

Опозорил Захарий жениха, а Павла во хлеву пряталась, слезы лила, словно бы чуяла свою беду, свою постылую судьбу. С того раза больше не наезжали к Шумовым сваты, и Захарий не однажды себя казнил за норы и гнев, винился перед дочерью.

... Печь прогорела, лишний дым из жилья выкатился, осел на потолке жирной бахромой. Павла поддверок выставила к стене, дверь прихлопнула плотнее, иначе избу не натопишь, пятник в стене заткнула. Выхватила на шесток чугуна с гречневой кашей, наклала половником в миску, двинула сыну.

– На, жори, ненаеда. Гречнева-то каша – мать наша, а хлеб аржаной – отец наш родной. Как доживать зиму будем? Опять к Петре Афанасьичу на поклон идти. Не батька бы твой, дак помирать нам, слышь?

– Угу, – давился кашей Клавдя, черпал ложку с горкой, наворачивал – торопился, роняя изо рта на рубашонку.

– Не давься, нехристь, не отыму. Сколь ты нажористый. Каков в работе будешь только. А я поробила на Петрино пузо. Осподи, эстолько бы на себя поробить, дак разбогатела бы, кажись. С Прокопьева дня и до Покрова как ломовая лошадь... Ой, где-то Яшенька наш?

– Рыбы привезет, ести будем.

– Наварим ужо ухи из свежины, – согласилась Павла.

– Ма, дай титьку почукать...

– Помолчи, третий год пошел, какая тебе титька. Всю начисто мать-то высосал.

– Дай титьки, – заревел Клавдя, пролез в подстолье, стал рыться в материных юбках.

– Замолчи, ишь чего выдумал. Полезай на полати. Живьем готов съесть. Уж Яшка такой не был.

В загородке застучала копытцами телушка, стала подниматься, вся черная, с медового цвета глазами. Поднялась, затеребила корову слюнявой мордочкой, отыскивая вымя. Корова блаженно мыкнула, топыря широкий зад, зачесалась об угол. Павла сразу о сыне забыла, сбегала на поветь, притащила своей красавице плетеную кошелку мелкого сенца, кинула в ясли. Корова сонно захрупала сеном, кося на хозяйку ленивые глаза, и с бархатно-пепельных губ тянулась густая слюна.

– Пестронюшка ты моя, кормилица. Откуда экого черта выгуляла, с кем спроказила? – Павла пробовала приласкать телушку черную, без единой светлой пролысинки, но та упырилась, деловито тыкалась в тугое материнское вымя, скользя задними копытцами, порой отпрядывала, боясь собственной тени, и тогда в стороны прыскали тонкие струйки молока. Клавдя по-звериному ползал на коленках подле, заглядывал, как сосет Черनावушка. Павла отпихивала сына ногой, не дай Бог, наступит корова.

– Помяни Господи царя Давида, матери Елены до чернавина житья... Клавка, поди прочь. Весь измазюкался, сейчас схлопочешь уже. – Выставила сына из загородки, но тот упрямо лез обратно. – Посмотри, на кого ты похож-то?.. Как белая березонька стоит, вовеки не колыхнется, так бы теляти моя жила веки повеки.

Вдруг засмеялась Павла, вспомнила, как Пестронюшку первый раз выдаивала. Осподи, будто вчера и случилось, как принесла телушечку от Петры Чикина. За бабу Васеню отблагодарил. Спасибо, Петра Афанасьич, спаситель ты наш... Осподи, дай доброго промыслу мужику, где-то и Яшенька с им на морозе колеет.

И не заметили, как выросла Пестронюшка, доброй коровой стала. Павла тогда бабу Соломонею позвала, у нее заговор сильный. Нашептала бабка на миску с водой: «Осподи, Боже благослови! Как основана земля на трех китах, на трех китицах, как с места земля не шевелится, так бы любимая Пестронюшка с места не шевелилась. Не дай ей, Господи, ни ножного ляганья, ни хвостового маханья, ни рогового боданья. Стой горой, а дой рекой, озеро сметаны, река молока, ключ и замок словам моим».

Обмыла Павла коровье вымя заговорной водой, на скамеечку села, от радости даже заплакала, Боже праведный, дожила до красного дня: благодать ныне с коровкой-то. И молоко шипучее поскакало, забилося в подойнике, пеной накрылось. Отдоила Павла, намерилась встать, а Пестронюшка, какая муха ее укусила только, лягнула прямо в подойник и выбила из рук. Молоко пролилось, Павла в навоз спиною бряк: ой, горя-то было, ой, слез-то пролилось тогда. Баба Соломонея вон из дому, подальше от греха, недели две не появлялась на глаза и на людях Павлу винила: мол, сама недомыслила, не с того ручья водицы взяла.

Но удачный пал заговор: нет смирнее коровушки на всей Дорогой Горе, чем Павлина Пестронюшка, и нет дойнее ее и на живот круглее. Идет с поскотины, так вымя, будто ушат хороший, по траве волочится, и молоко брызжет. Духмяное у Пестронюшки молоко... «Ой, что это я? – спохватилась Павла. – Уже день-деньской, а я, будто палагушка дырявая, в безделье сижу. Люди-то добрые засмеют, вот, скажут, Павлуха-то Шумова в грязи заросла, а еще мужиками правит». Да пропади они все пропадом, совсем боле смешат люди: без копейки, задаром и шага не ступят. Бабу в полицейские соцкие выбрали, да какой из нее соцкий, прости Господи. Павлу, кричат, в соцкие, она баба здоровая, любого мужика усмирит, и хозяйства никакого. Орут, а каждый во свой двор смотрит, на общественные работы и силком не выгонишь. Рестанта-то в Мезень везешь, а у самой поджилки трясутся: ведь как ни здоровущая баба, а все одно баба, и маленький мужичонко – да востер. Лесом-то везешь, осподи, думаешь, сзади колонет чем, а дома и корова не доена, и малы дети не обряжены: осиротеют, дак кто их оприютит, по миру пойдут кусочки просить. У казенки-то кто задерется, нет бы мужикам разнять, дак глазают да смешки строят, а до крови дойдет, бегут к Павлухе Шумовой, – она начальство, пусть и разнимает.

А ведь Петру Афанасьича хотели в соцкие, сама слышала, как писарь мужиков подговаривал. А Петре что: у него нынче и убыток в прибыль, четверть вина мужикам наобещал да выпоил, вот и остался в стороне. А у нее уж нет таких денег, чтобы от горланов отвязаться, а им бы только покричать.

Засобиралась Павла, что-то в волостное правление звали, посыльный прибежал, не убили ли кого: опять воровские следы охранять. Кроме Павлы тут некому, а когда Павлины дети с голодухи ноют, тут все в стороны морды воротят, никто не спросит: Павлуха, тебе, может, чем помочь? Ироды окаянные.

Павла надела шубу-пятишовку, синим сукном крытую, еще из девичьего приданого шуба, уж сколько лет носит, а новой не завела; натянула оленью шапку-поморку с завязками до пояса, батог в углу захватила, свой полицейский знак, прикрикнула на Клавдю: «Дома сиди, катанцы здря не трепли».

Пошла из дома, а душа что-то ноет. Брюзжала, путаясь в сугробах... Поротую бабу в соцкие выбрали. Есть ли у мира нашего разум? Ой-ой-ой. Наверно, опять рестанта везти, а если рестанта, то где подводу брать? У Петрухичей была, у Пимокатов лошадь в город ушла, Колюбаки на Канине наваги достают... А понеси леший эту должность. Были бы деньги, дак две бы четверти вина поставила, пусть бы опились, только не выбирали в соцкие. Ой-ой, кто это? Не Яшка ли, обормотина, откуда он? Заколел весь, и под носом-то намерзло, пешней не отдолбить...

Павла даже споткнулась, разинула рот, поджидая на тропе сына. Яшкина овчинная шапка едва из-за сугробов видать, осподи, ребенок еще, четырнадцатый годик на Рождество пошел.

– Яшка, ты откуда, пошто не на рыбе?

А Яшка зверино глянул на мать, с лица весь черный, щеки в пятнах, поморожены, пимы на ногах разбиты, онучи из передов вылезают, примотаны веревками, чтобы не вывалились. Глянул на мать и промолчал: редкое слово теперь скажет, как появился на свет Клавдя. Тому-то проходу не дает, совсем парня затуркал. А матери обоих жаль.

– Натворил чего, находальник? Куда тебя мать спровадила, на озера?

– Загунь, чего разнылась, – круто отрезал Яшка.

– Ну-ну, – сразу завиноватилась Павла. – Ой, што это я, глупа баба. Ты ведь заколел совсем. Пойдем скорее в избу, я тебя обихожу, баньку затоплю. – Схватила сына за армяк, поволокла в дом.

В избе Клавка подкатился навстречу, наставил зеленые пятнистые глаза.

– Ой, Яша пришел, Яша пришел, рыбу принес, свежу уху варить будем.

– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – огрызнулся Яшка, пнул Клавдю, тот повалился на пол, нарочно рев поднял, егозя рубахой под носом.

– Ну, слава Богу, началось опять светопреставление, – почему-то обрадованно сказала Павла. – Уж миру промеж вас нету. Вот детиши-то ой-ой.

Глава третья

Донька сидел на низком еловом чурбачке посреди избы, и когда Яшка вошел, то с улицы, пока не пригляделся, не сразу и узнал приятеля, – так переменился парень. Был на Донате кожаный фартук до пят, рубаха из крашенины распахнута, плечи под нею прямые и острые, но руки лежат на коленях совсем мужичьи: распыленные, в рубцах, с толстыми обкусанными ногтями и набухшими козонками.

– Осподи, ты ли? Какими ветрами? – ласково приветил Донька. – Проходи да садись, нечего ободверины подпирать. Я даве же у матери твоей был, про тебя спрашивал, сказывала, на рыбе ты... Ну чего уставился, сколотна сирота?

– Не зови ты меня эдак, – хмуро попросил Яшка, потом еще раз пристально взгляделся в Доньку, совсем не признал он названного брата. Волосы на голове огрубели и окрасились медью, глаза загустели, совсем мало стало в них голубизны, и на носу густо выметались веснушки. – Был я и на рыбе, да весь вышел. Где татушка твой?

– На озерах с дядей Гришаней неводят. Уж месяц, считай, сидят.

– А-а-а, ну да. – И Яшка невесело рассмеялся, отвесив нижнюю распухшую губу. – А я Петре Живоплоту устроил хорошее веселье. Попомнит меня...

– За што ты его травишь-то, Яшка? Он ведь злопамятный. В кой ли раз приникнет насовсем.

– Пусть-ко попробует. Я как от него удрал, пятнадцать верст тайболой, да в одиночку...

– Да ну? – Донька даже работу отставил, перебрал в ладонях добрую полудюжину резцов.

– Вот те и ну. Вон щеки-то у меня до кости сгнили.

– Отчаянный ты, – согласился Донька и склонился над утицей-солоницей, выбирая крючковатым резцом лишнее дерево. Яшка, уже раздражаясь, глядел на крестового брата... А как спешил к нему, немного и дома высидел, сразу сюда, думал, все расскажу Доньке, посмеемся, а после вместе и рванем из Дорогой Горы. Уж не стоит и начинать, вдруг решил, только зря время тянуть.

– Солонку с двумя утицами хочу сробить. Не знаю, правда, во што выльется. – Донька подвинул к себе поближе сальницы, льняной фитилек в глиняной плошке качнулся, затрещал. – Скорей бы Благовещение, што ль, дак и свет бы загасили. Нонешней весной к Егорке Немушке в подмастерья иду.

Пригляделся внимательней к Яшке, увидел его черные щеки с водянистыми пузырями, злой опущенный рот и растерянные глаза.

– Ты чего букой-то?..

Но Яшка, отмалчиваясь, пошел к двери, устало ширкая катанцами, нагольная шуба еще с дедова плеча обремкалась по подолу, обвисла, как на пугале огородном. Что-то плохо гонит в рост Яшку Шумова.

– Чего мало сидел-то? – окликнул в спину Донька. – Посиди, дак вместе и поедем.

– В другой раз когда ли, – глухо отказался Яшка, побаиваясь остаться: вот засидится, разговорится с Донькой, и охота отпадет бежать.

... Уже за вечерело, синей тихой мглой покрылись улицы. Мороз опал, и было уже терпимо идти с открытым лицом: не так ныли щеки. Мимо чикинской избы два раза кругом обежал Яшка, собаки знали его и ластились к ногам. На подворье было тихо, значит, Петра еще где-то в тайболе убивается и зять с обозом не вернулся.

Дома Яшка сказал матери, сильно жалея душой, готовый уткнуться в подол и зареветь:

– В Няфту с утра пойду к дединке³⁷ Анне.

– И я с тобой, – заверещал Клавдя, но встал поодаль, уж больно скор на расправу Яшка.

– Соплюха еще...

– Какая дединка Анна, звала, што ли? Чего опять надумал? – всполошилась Павла, не зная уж с какого бока подступиться к сыну. Злой стал парнишка, словами говорит, а будто палкой стегает, и за волосье не надерешь, что ли сотворит с собой. Вот упырь растет.

– У дединки Анны ружье так же стоит, займы возьму полесовать, – гордил Яшка, но все рядом с правдой, – ведь у тетки Анны от покойного мужика ружье пылится, про это и мать хорошо знает.

– Како тебе ружжо, еще застрельнешь себя, – запричитала Павла, все принимая за чистую монету.

³⁷ Дединка – жена дяди.

– А это што тебе, баба-яга? – сбегал в сени, притащил и бросил перед матерью шкуры.

– И вправду, ой, золотко ты у меня, – встряхнула лису, та вспыхнула, огненно затрепала, потом накинута мех на плечо, приклонилась щекой, прикрыв глаза. – Иисусе, благодать-то, бывало, и не перечесть, братовья-то как нанесут из леса. И куничка тут. Ты, парень, не стащил где? – всмотрелась в Яшку, а у того смородиновые глаза сияют, как мокрые ягоды. Радостен парнишка, что угодил матери.

– Скажешь, как в лужу сядешь. Носи, мать, на здоровье...

– И мне, и мне, – вертелся подле Клавды, жадно тараща крапчатые глаза.

– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – сказал почти ненавистно, сразу вспомнив Петру. Окинул взглядом избу, и все так показалось в ней родимым, что в горле защемило. И глухо, сдерживая слезу, добавил: – Поди, уродина.

– Ты хоть раз-то поласковой, Яшенька, – попросила Павла.

– Подите вы все в... Ненавижу... – вдруг в голос завыл Яшка, кинулся на полати, забился в старые окутки и затих.

– Сходи, сходи в Няфту, – стала уговаривать Павла. – Дединке Анне большой привет. Я тебе тут в пестерек соберу дорожничков.

Как стемнело, Яшка молча ушел, бродил по деревне; в самую полночь, проклиная скрипучий снег, тенью вырос у Петрино вонного амбара на высоких столбах. По лесенке подобрался к дверце, пробовал деревянным аншпугом сорвать замок, но тут всполошились собаки, заскрипели ворота, кто-то бежал на крыльцо, мигнул свет; Яшка прыгнул в снег и сугробами выбрел на угор, скатился вниз к реке, оттуда санной дорогой убежал домой.

А с первыми петухами был уже на ногах, быстренько собрался, мать суежилась подле в одной исподней юбке да в ватной душегрее, все наговаривала шепотом: не долго гостись да осторожней в дороге будь. А как прощались, может, в последний раз приклонился Яшка лбом к материному горячему плечу и, подавляя в себе жалость и слезы, даже позволил поцеловать себя. И сразу посуровел, оборвал жестко: «Ну, хватит мокрядь разводить. В гости, чай, еду, а не на каторгу». А Павла словно что слышала сердцем, подавляла в себе ноющую тоску, благословляла сына: «Осподи, дай Яшеньке шелковую уступчивую дорогу да оборони от злых татей, от лихих супостатов».

– Может, проводить тебя? – спохватилась, крикнула вдогон, живо накинута шубу, кинулась следом через темную повесть, выскочила на взвоз, а Яшки уж и нет нигде, словно провалился парень. Постояла, поохала, «быстро умелся, лешак», слышно было, как хлопнула щеколда, прошлепали валенки пустынной повестью, и только потом Яшка вылез из-под взвоза, отряхнулся от снега и потопал в Мезень.

Еще спала Дорогая Гора, будто вымерла в морозной сумеречности, ни одного огонька, ни одного светлого пятнышка, и даже колотушка караульщика не тревожила эти утренние часы. А внизу, у подножья деревеньки, куда хватал глаз, лежала беспросветная темь лесов да зыбь снегов, и только дальняя закраина неба тускло желтела, как шкура дворовой собаки. Именно там и лежала Мезень, где был однажды Яшка вместе с матерью и откуда идут обозы по всей Руси, и, говорят, даже на Питер... Вот и побежал Яшка, благослови его осподи, дай уступчивую дороженьку, побежал, как мечталось-мыслилось когда-то, словно решил уйти от судьбы своей или найти ее в разбойной шайке, каких немало бродит ныне по темной матушке-Руси, а может, осесть в петербургском третьеразрядном трактиришке и заработать там золотую серьгу в ухо и посмертный сифилис от такой же безродной девки. Кто знает, кто знает...

До Мезени Яшка добрался на попутных, повезло парню, в городе покрутился день, назвался сиротой, притворно плакал, напросился в обоз до Архангельского, клятвенно заверяя, что тетка у него в Соломбале, вдова адмиралтейского плотника Коковкина. Но пустым не ринешься в дальнюю дорогу, и накануне, перед тем как пойти обозом, попал Яшка в

дом купца Артемия Антипина (каким-то боком свояка, в тот приезд с матерью чаи у него пили с городскими калачами). Когда все спали в доме, забрался нижними воротами, откинув щеколду, поднялся во второе жило – в летние горницы – и взял из сундуков восемь аршин гранитура алого, два конца китайки черной замшевой, четырнадцать аршин пестряди синей да пять аршин тикку волнистого красного, да полушубок суконный, серо-немецкий, совик, кафтан зеленого сукна, двух соболей, перчатки замшевые, шитые золотом, штаны плисовые да шапку бобровую мерлушчатую.

Смелость нашла на парня безрассудная, бродил по обеим горницам, как по своей избе, светил горячей лучиной, смотрелся в огромные зеркала в черной оправе, посидел на гнутых венских стульях, еще пошарил, не побоялся, за божницей и нашел там медных денег два рубля да один золотой. Нагрузился Яшка, теми же воротами вышел, а нести тяжело, запыхался, до верхнего конца Мезени поднялся, стороной миновал рогатку с караульщиком и мешок с добром в снег закопал, а взял с собой только то, что в пестерь влезло: два платка шелковых, совик белый, кафтан зеленого сукна, двух соболей и перчатки, шитые золотом. А утром сел в середину обоза на уголок саней с мерзлой навагой, надвинул на овчинный треух олений куколь краденого белого совика и задремал под накатиный скрип полозьев. Порой у горушек его окликивали возницы, Яшка торопливо прыгивал и поднимался рядом с санями. В начале дороги было чуть грустно, а более всего страшно от ожидаемой погони, потом пошли совсем чужие деревни; Яшка осмелел, на первом же постоялом дворе он стал как бы своим парнем, тоже соседился к чашке с тюрей из водки и ржанных крох, и даже пару раз потянулся к ней с ложкой и проглотил что-то противно-горькое, а потом лежал на полатах и сверху глазел на возчиков счастливыми осоловелыми глазами. И жизнь для Яшки виделась противу прежнего совсем иной и необыкновенной, и не хватало в ней только матери и приятеля Доньки...

Глава четвертая

И стал Донька Богошков у Егора Немушки подмастерьем. Калина подивился, откуда у сына старанье к топорной работе, потом вспомнил свою молодость и сказал: «Пооди, воля твоя... У топора – не у моря, проживешь без горя».

И вот дней за десять до Аграфены-купальницы собрались они коры рубить. Решили подняться по Кулою верст на десять, а оттуда еще по Нерюге-речке обойти стороной широкие рады-болотины с чахлым ельником и попасть на горные боры. День стоял погожий, июньский, весна ожила, уже березы распушились листом и родился на солнечных приречных местах овод-нуда; мужики сушили на вешалах поплавни, латали в неводах прорехи; тут же дымились костры и по всей деревне наносило кипящей смолой и пареным вереском.

Когда солнце прошло через полудень и в реке стала заживать вода, когда смоленые челны качнула народившаяся волна, взяли пожитки и пошли красной арешниковой тропой вниз. Тут-то и обнаружил Донька с удивлением, что обогнал в длину Егора Немушку и уже сверху вниз с некоторым превосходством глянул на его рябоватое лицо, словно бы покрытое густой ржавчиной, на рыжие клочковатые брови и нос утушкой, политый крупными шадринами, на постоянную овчинную шапку с одним заткнутым ухом. Егор Немушко думал свою думу, жевал постные губы, шевелил сухими плечами и что-то гундосил под нос, но ступал мужик кривыми стоптанными ногами надежно, и подштанники вздувались над кожаными броднями белыми пузырями. Мужик и парнишка шли бок о бок и поразительно похожи были, если глянуть со стороны: оба рукастые, с непомерно широкими коричневыми кистями, чуть сутулые, с прямыми костистыми плечами, и казалось, что это разбухшие руки тянут вперед и не дают распрямиться.

Бросили на дно стружка берестяные пестери с подорожниками да кабаты, остались в легких набойных рубахах в синюю клетку. Немушко сел по-птичьи на заднюю скамейку и столкнул шестом лодку. Девки на круглых речных камнях лупили вальками белье, заткнув подола сарафанов, и звонкие шлепки разносились далеко в прозрачном воздухе. Донька загляделся и внутренне подивился, как ладно и легко получается у них работа, и вдруг поймал себя на том, что внимательнее, чем обычно, смотрит на белые девичьи ноги. Тут одна портомойщица разогнулась и крикнула на всю реку: «Эй, Донька, рот-то открыл, поймаешь ворону». – «Тоже мясо», – неловко отшутился парень и поспешил отвернуться от всеобщего рассматривания.

А река, наполнившись водой, словно усмирила жажду и дышала ровно, тихо выплескиваясь на травянистые бережины; чайки успокоенно вскрикивали, насытившись рыбой, и только изредка, перестав опираться на воздух, падали плашмя в коричневую воду и прокалывали ее острогами клювов. День потускнел, посерели луга, тихие плесы нарумянились от молодой зари, и река стояла над головами живым серебряным столбом.

Деревня откачулась, пропали амбары и овины; казалось, отделились и плыли в пустынном небе черные мельницы, и легко струилась под их клетями молодая трава. Потом и они отстали, самый берег обступили осины, дрожали оловянными листьями, в хвощах плескалась сорожья мелочь, и вода, наливаясь прозрачным светом, несла все медленнее черный стружок. Немушко толкался из-за плеча, порой взглядывал на Доньку серебристыми глазами, видел его припухшие нецелованные губы, редкий рыжеватый пух усов и чему-то улыбался понятиво сухими губами, но не отворяя рта. Донька ловил эти мягкие взгляды и тоже готовно улыбался, почти любя немного мужика с клочковатыми бровями и кривым ртом, и был даже рад, что он безголосый, и потому можно молчать и переживать что-то свое, непохожее на прежнее состояние. Донька не знал, что с ним, но душа у него трепетала и хотелось одинокой тишины. От этой грустной радости ему было хорошо, и обвалившись на переднем сиденье, парнишка пропустил ладонь в упругую воду и слушал, как бьются меж пальцев прохладные живые струи.

Но вот берега сошлись ближе, и правый, рудяной, обметанный зеленой щетиной сосняков, навис над левым, вода неожиданно потемнела и стала торопливо колотиться в скулы стружка; Немушке было трудно толкаться одному, и они пошли вверх уже в два шеста. И, потяя с каждой верстой, Донька скоро забыл сладостное наваждение, но, неслышно для него, легкая радость словно бы из самой души проливалась в его распыленные на шесте руки и умножала их силу.

Донька вспомнил, что в этих местах он бывал еще с дядей Гришаней в эту же пору, когда береза оделась листом и на припеках уже надоедливо голосил овод-нуда. Помнится, они тогда тоже миновали хмурую ёру с длинными болотными травами и корявой мелкой березой; обошли и сырые рады – болотины, белые от морошечного цвета, и нашли сухие боровинки, где береза чиста телом, валили ее и снимали берестяные одежды – дупле на туеса и короба, драли шелковистое скользкое бересто и впрок – на лапти. Донька отыскал взглядом старое огнище, еще не поросшее травами, но Егор Немушко не остановился и здесь. Они свернули в боковую речку Нерюгу и толкались еще всю ночь, пока не зашли лодкой в такую тайболу, где вершины деревьев смыкались над самыми головами и глухари не боялись людей.

Здесь лес почти не знал топора и заслонял собою небо. Здесь и в самый жаркий день стояла прохлада, пахло прелью и грибницей; и только в крошечных распадах, поросших дурманым багульником, жили потайные коричневые ручейки, и если копнуть в мшистых берегах, то найдешь белый крупитчатый песок. Донька заметил, что Егоровы глаза потемнели и в них поселилась тревога, утиный нос подрагивал, зверино вынюхивая запахи, – и вскоре парнишка почувствовал, как и сам также подергивает носом и зорко осматривается.

Тайга имела какую-то неодолимую власть, и в Донькиной душе с радостью поселилась та же тревога, которая владела и мастером. Немушко мычал, делал руками знаки, подзывал парня, показывал ему желтые иглы, стучал обушком топора по стволу огромной сосны, и дерево отзывалось глухо на этот удар. Немушко плевался, и Донька понимал, что дерево больное и дряблое и нет нужды копать под ним.

Но порой дерево звенело, и мужик снимал мох лопатой, потом становился на колени и руками обнажал толстые родовые корни, которые питали ствол. Немушко радостно мычал, если находил два могучих черных корня; ведь от их сочной спелости зависела крепость карбаса или парусной шняки, и Донька, невольно подчиняясь этой радости, тоже по-собачьи рылся в торфе и песке, нюхая прелые запахи влажной земли.

Неделю рубили они коры для средних, носовых и кормовых упругов, а потом, шалея от таежного гнуса, выволакивали их на речную бережину, где хватало солнца, чтобы коренья подвялились и утратили каменную тяжесть...

Будто новым человеком вернулся Донька в деревню. Постоял на угоре, поджидая Егора Немушку, но тот возился у стружка и махнул рукой парню, мол, не жди, поди, но Донька еще потоптался на бережине, слушая босыми ногами ее прохладную ласковость. Сегодня берег пустел, только легкий ветер раскачивал на вешалах семужьи невода: бабы страдали на пожнях, мужики вели заделье во дворах, готовились к ночным ловам.

Еще помедлил Донька и, минуя церковь, вышел на площадь, выбитую лошадьми и сейчас от жары звеневшую под ногами. У самого кабака малые ребята играли в «сухую треску». Когда-то всей ордой лупили, рвали волосы (такая уж это забава, казалось, от нее и поныне стонут Донькины волосы), но вот парельщик, начинавший игру, вырвался из сутолоки, поправляя ворот рубашки, и все разом откатились от мальчишки, настороженно замолкнув. Парельщик бросил к ногам изрядно измочаленную метелку, поддержнул повыше порты, зыряя глазами, в кого бы пнуть березовым голиком и тем самым избавиться от битья. По большой редковолосой голове Донька узнал Клавдю Петрухича и окликнул его. Клавдя обернулся, пятнистые глаза были упрямы, под носом засохла кровь, ворот рубашки расплосован до пупа, – видно, что мальчика лупили без жалости.

– Поди прочь-ту, Ворзя, – огрызнулся Клавдя, скаля мелкие неровные зубы.

– Про Яшку-то слышать чего, Петрухич? – снова спросил Донька, но Клавдя только нетерпеливо потрянул покатым плечиком, топыря лобастую голову и выцеливая недруга.

Донька усмехнулся. Стыдно связываться с мальцом, заревет еще, побежит жаловаться матери, и, заворачивая за угол Петриной избы, Донька слышал, как вопила и стенала площадь.

Он шел и вспоминал Яшку: куда запропастился парень, что наделал с собой? Как сквозь землю провалился и в Няфту к тетке не приходил, не видали там Яшку. А Павла-то по Дорогой Горе бродит, глаза пустые, опомниться никак не может: в чужую избу войдет, видно, что-то спросить хочет, а сама как встанет под воронцом, молча и час и два выстоит, пока кто-нибудь не спросит: «Тебе что, Павла?» А баба только тяжело вздохнет и, опираясь на батог, пойдет прочь.

Ой, знать, не зря заходил тогда Яшка, смутный был, темный. Говорят, Петру Афана-сыча до дикого состояния довел, едва мужик из тайги вышел, уж и рыбе не рад был. Хорошо морозы пали, и мокрый снег прихватил настом, а то бы пропадай заживо вместе с кобылой. А людям не жалится, смолчал: уж что там приключилось меж има, один Бог знает...

Отца Донька застал дома; он сидел не один, на печи лежал дядя Гришаня, а в красном углу гостила ядреная баба с мужичьими плечами, разодетая в малиновый сарафан и белую рубаху льняного полотна с расшитыми по подолу красными петухами. Баская у бабы Ульянки рубаха, потому и сарафан она заткнула за шерстяной пояс с золотыми кистями, чтобы покрасоваться узорчатым подолом. Калина сидел смущенный, часто оглаживал седую

бороду и глаза не поднимал, изредка стучал по столешне сухими пальцами. Он невнимательно глянул на сына, видно, хотел что-то сказать, но баба Ульянка опередила мужика и зачастила:

– Вот и сынок Донюшко, сколь большой да сколь велик-то, андели-андели, а сколь смирен-то, как белояровая овечушка. Каким сыном осподь сподобил. Ведь и он большой, и ему забота нать. А ты-то, Гришаня, чего молчишь, замолви словечко.

– Мое дело стариковское. Да по мне как бы не нать бабу. Без бабы не жизнь, туг ты верно молвила, – откликнулся Гришаня.

Донька сидел на приступке, шевелил распухшими от болотной воды, словно бы неживыми пальцами и туманно прислушивался к маетному разговору. По смутным лицам Донька понял, что речь идет об отце, и вроде бы его заманивают свататься...

... Нет-нет, сразу в душе вскинулся Донька, после мамки никого не нать, чтобы и не пахло тут бабой. Заведет свои порядки, начнет голос подымать, в большухи ползет. А они и одни сладко живут, чего надо состряпают да поедят, и слава Богу.

– Попробуй, сыщи бабу-то по душе. После прежней не каждая рядом встанет, – вслух подумал дядя Гришаня.

– А поискать, дак, бывает, и найдется, – не отступала баба Ульянка, играла черными широкими бровями, словно бы и на себя намекала, мол, гляньте только, сколь я дородная и сколько во мне еще бабьей силы. Что и говорить, сама цветом цветет, а мужик зачах, ветром качает.

– Вон Евстоля Петрина чем не девка? И богата, и лопатины³⁸ сундуки полны, и в разговоре уважлива, и домовита, а уж по хозяйству-то – как шьет, и в руках все горит.

– А не молода-а? – спросил дядя Гришаня, спустился с печи, подсаживаясь к сватье.

– Да и жених не старик. Бороду подровнять, за молодого сойдет. Чего вдоветь, бабу из могилы не подымешь. Не-е, оттудова еще веком никто не возвращался.

– Но Петрину девку не возьму, – вдруг наотрез отказался Калина.

– А чего так, и неуж опять чего заспорили? Да и девка тут при каком боке?

– Петрину девку в избу не заведу...

И у Доньки от сердца отлегло. «Не надо нам, татушка, экой коровы, – молил он отца, – ведь зла она и жадна, вся в родителя. И полорота, вечно мухи в рот залетают, и жрет-то много, и пола не подметет, пока не прикажут, и после киселя мутовку облизывает».

– Не лежит у меня к Петре душа, – повторил Калина, когда сватьа Ульянка ушла прочь.

– А не с ним и жить...

– И то верно, – задумчиво откликнулся Калина: надо бы в дом хозяйку, трое мужиков без присмотра, корова по-худому обряжена, изба запущена, пожни только исполу убираем. Тяжко без бабы: руки есть, голова есть, ноги есть, а словно бы сердца нет. Может, и глянуть одним глазом на Евстолю, что за девка? Загнздилась, запарилась, парни стороной обходят, и неужели столь страшна? Глянуть надо...

Ужинали молча: хлебали свежее молоко, заедали калачами, потом рано завалились спать, завтра до петухов и вставать нужно. Аграфена-купальница, канун Иванова дня, баню топить надо, завтра по всей Дорогой Горе бани, на вениках гаданье, в реке омовенье, целый день подле воды. В какой-то год эдак бабка Васеня потонула. Нагадала житье, веник-то всплыл, а сама вот, видишь как... Осподи, преподобный Моисей Угрин, ослобони от соблазна, от блудных страсти избавь.

Калина открывал глаза, было светло как днем, из половой двери наносило легкой прохладой. Сон не шел, хоть запирай глаза, и душа растревожена, хочется бродить и что-то работать. Слышно, как ворочается на полотах сын, натужно кашляет, – знать, простыл в суземье;

³⁸ Лопатина – женские наряды.

в легких размытых сумерках хорошо виден строгий лик брата на печи. Ой как неможется Калине, трудно ему жить в сиротском одиночестве на пятом десятке. Порой поднимет голову, видит напротив кровать, застеленную ситцевым одеялом, – уже который год пуста кровать, как не стало на свете желтоволосой Тины. Спит Калина на узкой деревянной лавке с подзорами, подле двери.

И захотелось Калине увидеть жену-покоенку. Будто бы вся в памяти, даже помнится касание ее легких рук и ржаной запах огнистых волос, и что-то упругое и податливое под ладонью; и шорох ее юбок на сонном рассвете, когда Тина обряжается у печи, а Калина еще потягивается на кровати, ждет, когда баба присядет подле на лоскутное одеяло и легко потреплет за бороду... Будто вся в памяти Тина, но не может ее вспомнить Калина Богошков: ни глаз ее, ни улыбки, ни упругого скуластого лица. Бог ты мой, пропала жонка из памяти, будто пятнадцати годков вместе не жили. Грех-то, грех-то, дьявол мутит душу. И сон-то нейдет...

Поднялся, душа тосковала, в устье печи поставил лучинки накрест, чтобы не залетела в трубу ведьма, снова лег на лавку, скрестив на груди руки; откуда-то взялись комары, загундосили над ухом... Боже мой, житья нет. Душно-то как. Снова забормотал, будто во сне: «На церкви крест, на престоле Божьем крест, крестом крещуся, крестом гражуся...»

... А что, возьму и женюсь! Донька мне не указ, скоро свою бабу в дом заведет – и вовсе осиротею тогда. А я не старик, не-е, какой старик на пятом десятке, да у нас с молодой-то бабой еще парни пойдут, как грибы. Завтра и гляну украдкой, как да что: не с лица воду и пить. Молодую-то возьмешь, да ежели баскую, начнет подолами трясти, пока на промысле сидишь. Леший, он рядом вьется, ему бы только баб блазнить да на худое поманывать. Завтра и гляну... Комаров-то напустили, чертова гнуса. Опять навалились морока. Нет, не уснуть.

Так и промаялся Калина до первых петухов. Услышал, как зачивкали в застрехе воробы, радуясь молодой заре, потом затрубили на всю деревню коровы, защелкал кнотом пастух-поводырь, собирая свою паству, тут и солнце благословенное пробилось сквозь стекло, пролилось на полу.

И опять о чем-то беспокойно думал Калина, улыбался странным мыслям, когда топил баню. В каменице дрова уже прогорели, угли стали мохнатыми, едва просвечивали янтарем. Натаскал воды полную кадцу, старался не шуметь, чтобы не растревожить хозяина-банушку; потом долго стоял на угоре и невольно косил глазом туда, где совсем недалеко была баня Петры Чикина. Там тоже кто-то бродил, смутно белел лицом, не различить: но угору тянуло горьким березовым дымом, уже людно было у Курьи, но все больше толкалось бабье племя: кто бельишко простирывал спешно, кто таскал на коромыслах воду – рано проснулась нынче Дорогая Гора.

Вся деревня рассыпалась на берегу: верхний околоток вдоль Курьи-притока, нижний околоток в устье Кулоя, где мелкие волны сбивались в толкунец и два течения, встречаясь, завивались воронками и рыли омота. Там и утонула когда-то баба Васенья, утащила ее водяница-лешачиха, истерзала всю и выбросила аж у самого моря, тридцать верст протащив по дну.

Воздух был тих и еще не накален солнцем, плыли в небе белоярые облака; над Дорогой Горой катились малиновые звоны, бабы заходили в воду все в белом, в длинных до пят рубашках, завязанных под горлом; у самого берега, где и воды-то под щиколотку, быстро приседали, пугливо охали и спешили обратно, проваливаясь в тягучую няшу.

Богошковы разом бросили охвостья в убывающую воду, веники закрутило и понесло неторопливо на Кулой (значит, жить сейгод), а мимо все плыли и плыли пучки березовых прутьев, похожие на мертвых птиц. Калина тоже зашел в Курью, в белой рубашке до колен и застиранных мятых подштанниках, крест выбился из-под ворота и болтался на груди. Вода была еще холодна, торопливо плеснул на лицо, вздрогнул, поворотясь на восток, совер-

шил молитву, а потом будто случайно оказался подле Чикиных. Петра был тих и задумчив, и, перебрасываясь необязательными словами, Калина украдкой выглядывал Евстолю. Она стояла невдали, широкая в кости, с тощенькой косицей на спине, в длинной грубой рубахе с кумачовыми наплечниками, и младшая, Тайка, казалась перед нею дочерью. Тайка егозила вокруг, на что-то подбивала Евстолю, но сестра отмахивалась. Она смотрелась простенькой и блеклой, эта засидевшаяся девка, но в неярком грустном лице Калина разглядел вдруг что-то так похожее на свою покойную мать и близкое одинокому сердцу, что был удивлен: а Евстоля, поймав случайно его взгляд, улыбнулась заискивающе и потом еще оборачивалась и выглядывала исподлобья сухощекое лицо Калины, по самые глаза покрытое седой бородой.

А за утренней вытью, запивая житную кашу молоком, Калина, будто между прочим, сказал: «Плохо без бабы-то. Вон, чугуники заростили, веком будет не отскоблить».

– Дак что, не мужская работа с чугуниками пётаться, – согласился старший брат.

– И сена убирать как, не пойму...

Донька бросил ложку на столетию, выскочил из избы.

– Ты бы сходил, а? – попросил Калина брата, глядя в косячатое оконце на сына.

– Пошто не сходить-то, схожу, – быстро согласился Гришаня.

– Я говорю, к Петре Чикину сходи, – повторил Калина, сердясь.

– А я об чем?

Они глянули друг на друга и рассмеялись. Под вечер, когда потускнело небо, обтер Гришаня Богошков икону Божией Матери чистым полотенцем и трижды прочел подход: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, стану я раб Божий благословясь...» – а Калина достал из подпечка деревянную лопату, на которой хлебы сажат, да той лопатой легонько брата по заднице двинул, чтобы невеста не отказала, и пока ходил Гришаня, сватал, Калина по избе от окна да к двери стол волочил.

Пришел Гришаня к Петре Чикину, тот сидит в застолье один, брагу пьет, ближние и слова не вымолвят, боятся громко вздохнуть.

– Хлеб да соль. – помолился Гришаня истинным крестом, знал он норы хозяина, старой веры человека.

– Милости просим с нами хлеба ись, – пригласил Петра и тут же вскричал: – А ну, девки, для гостя посуду... Русак-дурак, пьет с горя и радости; что русскому здоро-вье, то немцу смерть.

– Я к тебе, Петра, с делом...

– После, после, – отмахнулся хозяин, расстегнул оловянные пуговицы сатиновой рубахи, поверх жилет из городского сукна: жарко было, потел, но не снимал, форс выдерживал.

– Да решить бы сейчас...

Евстоля принесла полуштоф с водкой, оловянные рюмки, Петра разлил себе и гостю, рука волосатая до самых козунков дрожала, а зеленые с придуры глаза трезвехоньки...

– Рюмочку винца да стаканчик пивца – куда хорошо...

– Слыхал, дом ставить норовишь? У меня брат-то мастеровой, Калина-то Богошков. Он ведь с Клавдей, дядей своим, баские дома рубил, отличные от протчих. А нынче свободен он, свободен. – Гришаня рюмку осушил, у него и голос родился, с Петрой разговаривал, но с Евстолей глаз не спускал: а ничего будет баба, думал, что в плечах, что в заднице. Еще настроит рекрутов, и глаза вроде не злы.

– Ну, дак берешь?

– Сговоримся, почто нет...

– Спасибо за хлеб-соль. Бог наплатил, да никто не видал, – пошел к порогу. – Слышь, Петра, проводи-ко.

Вышли в сени, двери затворили.

– Петра Афанасьич, я к тебе за девкой пришел. Отдай Евстолю за Калину моего.

– А что у меня большуха-то скажет, переговорить надо...

Пошли обратно в избу.

– Слышь, Августа Антиповна, отдай девку-то свою за брата моего Калину.

– Да котору? – всплеснула руками Августа. – Ты садись, посиди-ко, Григорей Иванович, батюшко родимый, у меня вроде ни одной девки свободной нету. Манька продана, не сегодня-завтра опорознится, Тайка еще мала-малехонька, разве Евстолю? Дак мы ее не гоним, пускай погуляет в девушках, – укатилась за ситцевую занавеску, там мисками гремела, снаряжала стол и в голос выла.

– Ты поило, Антиповна, ревешь? – спросил Гришаня. – Ведь это век на веке так делают, не у вас одних. Кабы ты отдавала за табашника или мотыгу какого, а то наш Калина и вина-то не пьет, и табаку не курит, и сам не старик, и хозяйство полным-полно, а уж лучше кормщика по всему Зимнему берегу не сыщешь ни в Койде, ни в Зимней Золотице. Уж на што люди близ моря живут, а завсе к нашему Калине на поклон ходят, просят, сплавай, мол, своди наших мужиков за Матку.

А хозяйка будто и не слыхала Гришаню, причитала: «Только ты одна у меня на свете ох-ти, ох-ти, как тошнехонько мне».

– Ну, хватит реветь-то, – вдруг сурово окрикнул Петра. – Мужика-то не похулим, Калина нашей девки стоит.

Августа сразу затихла, покорно откликнулась:

– Как хошь, отдавай...

А Евстолю никто не спросил: спряталась девка на печи в темный закуток, ни жива ни мертва, и вроде бы за старого неохота идти, и дома оставаться – нет большей казни.

Еще посидел Гришаня, уже нахороше расстались, ушел довольнехонек, что Калину не подвел. Тут и завывала-запричитала Евстоля, с печи спустилась, в переднем углу качается да ревет: «Ты не отдавай меня, татушка, ты не посылай меня, любезный батюшка, за старого, за нелюбимого...»

А средняя сестра рядом сидит за прялицей и нехорошо подговаривает:

– Реви-реви пуще. Ей нынче и старый нехорош. В экий-то дом дивья идти, хозяйкой будешь, а тут вечно в подневольницах у скупого батюшки.

– Загунь, чертово семя, – прикрикнул Петра. – Мужик не лупит, дак у меня рука хорошо подымется.

– Вот-вот, всегда так, – скривилась Манька. – И слова-то доброго не услышишь.

Тайка пожалела сестру, затосковала, самой думно стало. И завывали все разом, умылись слезами.

А через неделю и рукобитье справили, Евстоля мужних родственников подарками обнесла; сама одета богато: в бархатный штоф, да атласную душегрею, да шелковый сарафан, да в белую рубаху с длинными рукавами, а на голове повязка с занавесью из бисера. Потом встала посреди избы, и навстречу из-за стола жених вышел, чтобы прилюдно целовать. Борода у Калины коротко подбита, волосы на голове на две стороны пивом с солью смазаны, рубаха на плечах кумачовая, поверх кафтан из синего покупного сукна, на ногах сапоги черные с подковами, и кисти цветного кушака по коленям быют. Взял Евстолю за косу, другою рукой плат на лице поднял, глянул в глаза – в них радость. Поцеловал троекратно, а девки-подруги на всю избу плачут, заливаются, как заведено: «Пристыдил да прибесчестил чужой сын отеческий девицу красную при компании, при собрании людей добрых».

А как в церковь ехать, пришли дружки жениховы, принесли башмаки подвенечные да всякие сладости, наказали невесте: «Девица, душа красная, зарученный наш князь приказал тебе мыться белешенько, ходить хорошенько, гордость и спесь подальше спрячь, девьи

поступки дома оставляй, низки поклоны с собой припасай. У нашего князя горница нова, в новой горнице есть кровать тесова, на кровати тесовой есть перина пухова, а над периной пуховой есть спичка дубова, на спичке дубовой висит плетка шелкова о трех долгих концах. Первый конец долог, второй долог, третий до вашего брата очень ловок – где хвостнет, тут и кровь брызнет».

И справили свадьбу, и все бы ладом, все бы хорошо; но только из церкви после венчанья вышли, и подружки на паперти распущенные волосы в две косы заплели, потом и по телегам расселись, а лошади ну фыркать, колокольцами-шаркунцами звенят трусливо, зубами скалят, из оглобелей рвутся. Донька-то сбоку стоял, в кармане у него от медвежьей шкуры кусок спрятан; кобыла чует медвежий запах, ее и с места не сдвинуть.

В толпе сразу заахали, запричитали – ой, к беде, ой, к несчастью, колдун вежливый, охранитель свадебный, с ног сбился, людей прочь от лошадей гонит, а на Доньку ему и грех подумать. Парень в душе зло веселился, по толпе шальными глазами бегал, отца стороной обходил и не утерпел, в его лицо глянул – и поразился: мертвецки бледное оно, с испугом в очах, а мачеха Евстоля рядом блее льняной скатерти.

Смутился Донька, пожалел отца, ушел в толпу, оттуда берегом за деревню убежал, упал в копну, заплакал. Искали его свадебщики, дядя Гришаня аукал: не нашли. Заснул под копной Донька и увидел во сне мать свою. Будто он с Яшкой на челне плывет, а мамка с берега вслед кричит, как птица гагара: «Донюшка, воротись, Богом прошу».

Глава пятая

Еще на прошлой масленой вошли Чикины в новый дом в два жила да с огромным двором, а по всему переду красные окна со стеклянными окончинами и с резными узорчатыми ставенками. Перед тем как войти-поселиться, сходил Петра Афанасьич в старую избу, раскланялся во все четыре угла: «Хозяинушко-господин, пойдем в новый дом, на богатый двор, на житье-бытье, на богатество».

Потом в новую избу образ внесли, следом черного петуха пустили с белым помороженным гребнем, бабкиного любимца, стали глядеть, куда побежит. Потоптался петух у порога, надулся, облегчился жидким и затопал когтистыми лапами в передний угол: и сразу все вздохнули, ну, слава Богу, доброе житье будет...

И вот год минул с той поры, нынче снова мясопустная неделя, а завтра начнется беспорточная, масленая, когда, ой, не грех последнюю юбочку заложить, а маслену проводить.

Сидит Тайка у красного окна и белую косу туго плетет. Встала бы нынче из могилы баба Васеня, не узнала бы девку: куда-то и рахитичный животик подевался, и титешки налились упруго, и шея из низкого ворота плавно выросла, а глаза будто два лесных фонаря – за березовой весенней зеленью легкий хмельной свет. Ой, девка, что тебя томит, почему оставила глаза на крохотных желтых стеклах, что едва протаяли от ледяной навеси, а в углах окна еще прочно живет колкая заморозь. Глядит девка на улицу, уж ничего-то за спиною не слышит, щемит у нее глаза от голубых крупитчатых снегов: солнце половодьем залило улицу, и кажется, что не сегодня-завтра весна; столько на воле тепла, так расшалились воробы на коричневой от навоза дороге, не пугаясь лошадиных копыт. Отчего-то хмельно Тайке, и лишь сегодня утром на переносье проступили три рыжие веснушки. Помылась девка теплой творожной сывороткой и еще блее стала, и только на тугих щеках проступил такой прозрачный, такой легкий румянец, словно Тайку неожиданно кто обворожил и покинул в стыдливой растерянности.

Напротив Петриного дома узкая дорога в глубоком овраге меж отвесных сугробов, и только дальний краешек ее виден из окна, притрушенный легкой сенной наушной. А за дорогой большой заулок, желтый от свежих опилок; рядом изба Егорки Немушки. Видно Тайке из

окна, как на стерлюги – на высокие деревянные скамейки – закатывают мужики обледенелые комлистые бревна, и под старенькими армяками до предела напрягаются сутулые спины. Потом мужики отходят, хлопают верхоньками, машут руками, о чем-то спорят; и маленький в своем постоянном овчинном треухе и коричневой понитке Егорко Немушко, главный корабельный мастер, и его старинный сотоварищ по ремеслу Гриша Деуля, ноги которого не держат огромного мужичьего тела и кривы ныне, как кузнечные клещи. Егорко достает кожаный мешочек, набивает крохотную трубочку из верескового корня и сладко дымит, и Тайке видно, как жмурится его щербатое рыжее лицо, на котором, кажется, только и есть, что утиный нос и клочковатые брови. Третий их сотоварищ, Донька Богошков, лезет на стерлюги, топчется на бревнах, железные скобы загоняет обухом топора наотмашь, потом сбивает шерстяной колпак с веселой голубой кисточкой и что-то кричит, поворачивая лицо к Петриному дому, и Тайке чудится, что Донька видит ее и кричит нарочно, что-нибудь задиристо-нахальное. Он ведь такой, он ведь остер на язык и прилипчив, как смола: говорят, что и Калина-то в молодости был такой, да вот море дало укорот его веселому нраву. Нынче если и скажет что, так в час по чайной ложке.

Тайке видно, как Донька открывает рот, но слова не слышны, они как бы застывают на лету и ударяются в стены острыми ледяными осколками, и до уха доносится только звонкий отзвук его голоса, будто бьют ложкой по жестяному донцу сковороды. Парень там и остается, ныне он верховой пильщик, мажет длинный шнур осиновою головней и отбивает черту вдоль бревна; внизу становится Гриша Деуля, и они тянут полотно сквозь неподатливое дерево, часто останавливаются, и верховой бьет в пропиленный железный клин, чтобы не зажимало. Донька усердно тянет пилу по черте, и нет вроде бы ему устали, и только морозный пар идет от его плеч, и пот, прошибая насквозь полотно рубахи, остается на кафтане черными разводами.

Не усиделось Тайке, схватила чунку, поставила ушат, сунула черпак, берестяное ведро с держакон, побежала на реку за водой. Тропинка идет мимо пильщиков, Тайка клонит голову, прячет глаза под низко напущенный платок, но около мужиков медлит, едва представляя ноги, словно бы ей тяжело тянуть чунки по дороге, усыпанной свежими опилками. И кажется Тайке, что сверху смотрит на нее Донька Богошков, и сердце шалеет от мыслей, что он смотрит, а охальник Гриша Деуля даже остановился, раскорячил ноги, готов цапнуть за шубейку и смутил девку совсем:

– Ой краля, ой королева... Эй, Донька, ты не зевай...

Тайка напрягается всей спиной, медлит завернуть за угол дома, хочется ей слышать, что ответит рыжий парень, но Донька только равнодушно отругивается: «Не скаль зубы-то, тяни давай», – и замолкает, а у девки сразу больно и гулко падает сердце, и она черпает из проруби льдистую воду и, не замечая, плачет от досады. А за спиной только вжик-вжик... На крыльцо выскочишь, а через улицу вжик-вжик. Утром из амбара бежишь с миской муки, а во дворе у Егорки Немушки вжик-вжик. Хоть бы свалился с бревна, черт окаанный, да шею сломал, думает Тайка. Ну погоди, я тебе еще дам укорот, повьешься вокруг меня, как дым возле пламени; шелковою травой прильнешь к ногам, а я зимнею выюгой тебя заморожу; ты птицей-кречетом на белую лебедушку, а я обернусь камнем синим горючим.

Гулкой лесенкой забежала наверх в холодную горенку: там зеркало поясное норвежской работы, в переднем углу образа черные, досюльные, одни глаза и видать только; вдоль стены сундуки устюжские, покрыты светлым прорезным железом; под окном стол на точеных балясинах, тут отцовы книги молитвенные с медными застежками в дощатых переплетках, обтянутых кожей. Ставки прикрыты, едва мерцает неживым светом лампада; у преподобного Николы глаза живые и скорбные, призакрыты тяжелыми коричневыми веками.

Вспомнилось, как гадала в прошлое Рождество, не сказавши родителям, как убежала в верхнее жило, в настуженную горенку, когда отец спустился в избу, отмолившись, а потом

все легли спать и задули сальницу. В исподней рубахе и своекатаных валенках на босу ногу, на плечах внакидку отцова шуба овчинная до пят, поднялась тихонько, в руках лучина, из повети наплывает мрак и глушит едва живой ее свет.

Образа из горенки вынесла, сдвинула два стола близехонько, на них зеркала установила, боялась толком вздохнуть, чтобы не свалились на пол, тогда беда, набегут снизу. А может, боялась вздохнуть от страха: от морозного шороха стен, от скрипучего потолка (все казалось, что ходит там домовый-хозяин), от зыбкого пламени восковых свеч. От этой жути сердце колотилось в ребра, обливалось кровью и от каждого шума гулко летело вниз. Скинула на пол шубу, осталась в одной сорочке до пят, уже и холод не брал, только странная легкая дрожь колотила всю и не было сил унять ее.

Умостила меж двух зеркал, видела только что-то встревоженное, смертельно бледное, пламя свеч колыхалось, и в этом текучем свете мерцали совсем черные ее глаза. Загадала Тайка на жениха ровно в полночь, крепилась, смотрела в подвижные тени, а бабы сказывали, что едва посильное для души это гаданье, и не одна девка лишилась не только разума, но и жизни. Старалась не думать о страшном, сжимала зябнувшие руки, а видела себя уже лежащей навзничь у этого столика с точеными балясинами, и мохнатое, что-то невиданное ранее душит ее когтистыми лапами и черным клювом целует неистово ее помертвевшие губы. Осподи, страх-то какой...

Но Тайкины глаза не отрывались от зеркал, от их сумеречной глубины, где вот-вот покажется тень суженого, который возьмет девку в жены, а может, придет покойник в белом саване иль из призрачной заводи само собой всплывет домовище с откинутой крышей. И вдруг ей стало душно от ожидания. Что-то и где-то рождалось помимо Тайки и решалось за нее, а ей нужно было только усидеть меж холодных зеркал, затуманенных ее дыханием, и ждать свою судьбу; так бедная рогатая скотина жалобно смотрит на топор мясника и, не зная о своей смерти, уже каким-то чудом слышит ее, и тяжелые бирюзовые глаза готовы выкатиться от мольбы и страха.

Тайка не отрывалась от зеркал, и ей казалось, что все колдовское рождается именно в их холодном омуте. Еще она слышала, как мягко шлепнула щеколда, скрипнули ворота, забухали на повети медленные шаги, потом в зеркале как-то навыворот открылась дверь в горенку, колыхнулось пламя свечи – и в неровном зыбком свете показалось длинное морщинистое лицо с опущенным к самым губам носом. И помертвевшая Тайка подумала только: вот и суженый пришел, осподи, сколько страхолюдный он. Она готова была иль упасть в обморок, или мчаться куда сломя голову, а этого-то делать и нельзя, потому что тогда несчастной быть до конца жизни или вскорости мертвою. Но покоряясь своей судьбе, почти лишаясь сознания, решила подробнее рассмотреть смутный человеческий лик, запомнить его, сравнить с местными деревенскими ухажерами и обходить его отныне стороной.

Потом ей подумалось, что это лицо мало похоже на привидение, и Тайка быстро оглянулась, осенила себя крестами, «чур-чур, изыди, сотона», и чуть не опрокинула зеркала, когда в двери увидела Доньку Богошкова, который заплутал в новом доме, разыскивая хозяйина, и сейчас растерянно моргал в полумраке...

Посидела еще на сундуке, болтая ногами и маетно переживая ту полночь, и вдруг услышала внизу истошный крик. Это мать ее потеряла. Вздохнула потерянно и пошла в избу.

Бабы еще накануне масленой с ног сбились. Надо хозяина ублажить, гостей ладом приветить, а будут родичи из заречных деревень, все по мужней линии, и даже из самой Мезени кое-кто из мещан обещались. Еще намеренно пекли кулебяки с семгой и палтосиной, да колобки воложные рассыпные из крутого житнего теста на молоке, да расстегаи с пшенной начинкой, да шаньги поливные и крупяные, с творогом, ягодами – брусницей моченой и морошкой толченой, олабыши да сочни, и только блины ржаные на сегодня оставили. Печь

русская вчера прокалилась за день и за ночь не остыла, да и была ли ночь эта, трудно вспомнить, потому как угли на загнетке и в полночь малиново жили, и как гаркнул первый петух, так и Августа ткнула берестяной виток в жар и заново печь раздула.

А еще сварили говяжьих щей, мясо кусками да горсть засыпки – овсяной муки; да жарково баранье; да солонину с квасом и тертой редькой; да студень из телячьих ног, тот уж загодя сварен, дрожит в деревянных мисках, весь в кольцах жира, так и просится под нож; еще времени хватило кишки бычьей с крупой зажарить и саламату сготовить – житную кашу с говяжьим салом. И еще чего-то было; рыбы дорогие, пелядь и омуль, ягоды моченые, грибы под сметаной, пряники медовые и калачи городские – все трудно припомнить, потому что три стола, покрытые льняными скатертями, приткнуты друг к другу от красного угла до самого порога вдоль половиц, и двухсаженное застолье забито всякой едой, которую, конечно, к вечеру подметут вчистую; и будут гости пьяно и сыто искать и рыгать, хлопая по тугим животам, и тут же, объевшись, засыпать, порой свалившись под лавку и обняв сапог соседа.

Два ведра водки у хозяйки за занавесом, и у турка – бревна печного, где висит рукомыльник, – еще бочка с пивом, уже загуселым, покрытым легкой овсяной плесенью. И вот зашумел заулок, из церкви Петра явился с гостями, тут и еще подъехали следом, сутолока поднялась, будто скончание мира, мыли руки, вытирали льняными расшитыми рушниками, долго молились перед святыми образами, кто и ниц падал на холщовую подстилку, потом садились на лавки, ревниво оглядывая богатый стол; и голодные рты наполнились вкусной слюной от золотистых бараньих ляжек, от кругов студня и кулебяк, истекающих семужьим жиром. Сели все по чину, по званию, по богатству; с одной стороны мужики в красном углу, под самыми образами, с другой – их жены, а в самом низу, у порога, кто победнее. Тут и дочь Манька приткнулась с рыжим своим дитем, обсиженным веснушками. И что повелось тогда, что тут закрутилось, Бог ты мой, рвали руками мясо и чавкали бессловесно, и жир стекал на праздничные кумачовые рубахи, запивали пивом прямо из медных братин, и оловянные стаканы не пустели от горячего вина.

Августа угорела, потчует, и Евстоля с ног сбилась, помогая матери, а гости заморили червячка, отвалились от стола, загудели, как жирные осенние мухи, что-то кричали через стол друг дружке, слыша только себя, потом разом повалили вон из дома, чтобы пройтись по Дорогой Горе, растряссти животы и снова за стол, а Петра скорее в стойло, запрягать вороного жеребца в расписную кошеву с медвежьей полостью.

А Тайка пораньше сбежала на улицу: у нее свои заботы. На голове у девки плат кашемировый, белая коса в три шелковые ленты мечется на груди, шубейка легкая оторочена мягкой овчинкой, на ногах катанки расписные. Навстречу хмельные парни идут стенкой, в праздничных полушубках с отворотами, пояса шерстяные с кистями до колена, шапки пыжиковые да лисьи на затылки заломлены; кто-то व्यюном-вьюном, раскрутился под самыми ногами, а натуры не хватило, подвели коленки, и рылом в сугроб, а встать – ой ли-и-хо; лежит в снегу, раскинув руки, и пьяно смеется. А в небе солнце пушистое, первое такое о нынешней весне, тоже хмельное и яркое, больно на него глянуть, снег под ногами скрипит, как половицы в худой избе. Порой мимо ветром обдаст – гнедая пройдет, вся в лентах, храп в мыле, седок в пьяном кураже, сидит, накренив розвальни на один бок: раз-зой-дись... Откачнутся парни. Тайку в сугроб сдует.

Еще Петры Чикина нет, он-то покажет вам хороший бег. Вон-вон, вымчал его вороной, расписывая сухими ногами кренделя, заломив острую морду, грудь повита мышцами, сияют медные бляхи на кожаной праздничной сбруе, и малиновым звоном поют тонкие колокольцы, отличные по всей деревне. Сам Петра в распахнутой шубе, под нею синий кафтан, борода разметалась по груди, сидит осоловелый, островерхая шапка на одном ухе... Но Тайку разглядел, словно споткнулся жеребец: «Садись, дочи, про-ка-чу». – «Потом, потом», –

отмахнулась Тайка, ей не до лошадей пока. «Эй, воронко, грабют», – взревел отчаянно Петра, и уже не стало на улице ни вороного жеребца, ни Петры в расписном возке, и только розовое от солнца облако снега медленно оседает вдоль всей дороги да отряхиваются, вылезая из сугробов, парни и на чем свет стоят костят мужика, да еще где-то, то ли над снегами, то ли высоко в небе, под самым солнцем, чуть слышно догорает малиновый звон колокольцев.

Катится масленица колесом по Дорогой Горе, будто и дома вскачь пошли, гогот, гам, не поморская деревня, а татарская орда на своем языческом празднестве. Раз в году бывает на Руси, когда встает мужик с ног на голову и чувствует себя ловчее, когда ему море по колена, когда последний кафтан оставит в кабаке и последнюю овцу, насидевшись в зиму впроголодь, на пустоварных щах, зарежет, благословясь, и скормит гостю. Нынче ничего не жаль, нынче масленица...

И будто не было долгой завьюженной зимы, палящих морозов и тоскливых сумеречных вечеров, словно осталось и жить на свете всего лишь день – и надо его прогудеть так, чтобы и чертям стало тошно на том свете, а уж если и доведется помирать, так с хмельной и радостной душой и распахнутым в гоготе ртом.

А на деревенской площади базар не базар и торги вроде бы не ведутся, но грай там и смех, пестрые одежды, голубые живые тени на сугробах; в кабаке двери расхлябаны на петлях, не дают им закрыться, оттуда доносит сивухой и потом, то и дело вываливаются пьяные мужики, задорятся, что-то голгочут, готовые подраться, тычут по зубам, по носу, куда хватает кулак, и кровь бруснично рдеет сначала на истоптанном, залитом мочой снегу, а потом становится коричнево-грязной. Мужиков разнимают, виснут на плечах, уводят за руки обратно в кабак, в сивушный туман.

Но главная радость маслениц – катище, высокая ледяная гора, обставленная елками: она залита с краю площади, напротив кабака, а зеркальный скат ее пересекает деревню и убегает еще далее вниз, в подгорье, на реку Кулой. И мчатся по сверкающей реке парни и девки: то на санях – кораблем, то на оленьих кожах, сразу человек по десять, лежат друг на дружке, и тут уж парням великое раздолье; тискают, мнут девок, хватают за всякие там места, а морозко задорит, ярит сердце, клюквенно красит лица, а в головах у девок туман, то ли от легкого пива, то ли от бешеного полета вниз, когда рот затыкает встречным ветром и будто проваливаешься в пропасть, уже закрыв глаза и отдавшись отчаянному восторгу, что поселился в душе.

И Тайку кто-то хватает за плечи, пробует тащить вверх, пьяно дыша перегаром, но она отбивается кулаками и локтями, не замечая даже, кто держит ее, а сама высматривает и не находит того, единственного, ради которого нынче косу заплела в три ленты, грустит и никнет вся. Тут на лошади подъехали молодые, еще не успевшие наскучить друг другу; их просят подняться на катище, где и санки для них приготовлены, и молодуха садится мужу на колени, обняв его за шею рукою, а подгулявшая холостежь не дает ускользнуть вниз, требует: целуй мужика прилюдно четвертак раз и не менее. А снизу уже кричат, не терпя отлагательства: «Будем рыжики солить на пост»; и молодница сразу пугается, прикладывается к губам, пропахшим вином, морозом и соленым потом, а парни стоят над головами и считают во весь голос – «раз-з», и вся площадь откликается – «раз-з». Попробуй откажись тут, и не только засмеют дерзко, но свое возьмут, «приморозят губы к губам»: приневолят пятьдесят раз отцеловаться да еще начнут приговаривать: мол, не нами принято, из века в век так идет.

И отпустили молодых, и те исчезли в подгорье, и только шорох железных полозьев остался позади, а они сами уже крохотные, почти на середине реки, и глядят на катище, похожее на черную ленту, и видят, как, подобно майским жукам, с воем и треском скользят вниз парни и девки. Тут не зевай, убегай с катища, а то поднимут с ног и сметут в снег, будешь выдирать снежную крупу из ослепших глаз.

А Донька был здесь, и Тайка только сейчас узнала его со спины, увидав острые прямые плечи в старенькой понитчине и белую баранью шапку, похожую на монашеский колпак: он спешил наверх, срываясь с ледяных ступенек длинными неловкими ногами. Парень, пожалуй, был выше и виднее всех, и Тайка даже удивилась втайне, что не нашла Доньку сразу, а может, и не заметила, как появился он.

Она поспешила следом, вернее, полетела наверх, откуда только прыть взялась, и нагнала парня на самом гузне, когда целая куча мала готова была сорваться вниз на толстой рогоже. Тайка упала сверху на Донькину спину, девку завалило на бок, и она ухватила за его тонкую шею, прижимаясь холодными губами к рыжим неровным косичкам. Ей было смутно и счастливо, она и не заметила длинной визгливой дороги, и когда в самом подножье катища куча мала рассыпалась по снегу. Тайка словно позабыла отпустить парня и, лежа в сугробе, слепая от снежной пыли, чему-то улыбалась и медлила встать.

– Чего ты как кошка-то? – досадливо пробурчал Донька, выдираясь из кольца рук, и отвел в сторону глаза. – Петрухишнам только бы подолом трясти да мужиков имать, – добавил тише, намекая на мачеху.

– Ты, ты, больно надо, пугало рыжее, – крикнула Тайка, но крохотные белые бровки на заморозном лице почему-то испуганно дрогнули.

– Ну и отвяжись. Иль солнышко пригрело, дак зажгло?

– Зачем ты так-то, Доня? – вдруг жалобно спросила Тайка, и губы ее обидчиво посушились.

– Спроси у архирея, за чем. За гумном иль за баней, где хошь-то? У-у, все вы, Петрухичи, мягко стелете, да бока болят. – И пошел Донька целиной, проваливаясь по колена в снег, а Тайка еще стояла сиротиной, и слезы смерзлись горошинами на гнутых ресницах и мешали смотреть.

А в избе Чикиных снова гости, пьют ром норвежский да чай из пузатого ведерного самовара; бабы орехи сибирские колют, сорят шелухой на пол. Мужикам с морозца-то как хорошо еще по оловянному стакашку пропустить под овсяные блины и молочный кисель да потом запить крепким, как деготь, чаем. Немного протрезвели, протрусились по Дорогой Горе, сейчас обсуждают, что увидели.

– У Тимы Хромого кобыла резвой пробежки, – сказал вдруг завистливый по натуре кум, всегда охочий досадить хозяину.

– А ну чего там. На глупого удача, – отмахнулся Петра, еще не отошедший от пьяной езды: сидит за столом, распустив живот и распылив на столешне локти, а будто все еще потряхивает вожжами, и его всего куда-то несет, не-се-ет, и в голове круженье-круженье.

– Уж не скажи, Петра Афанасьич, на гоньбе он хорош, – еще кто-то пристал к разговору, и остальные прислушались, наострили уши.

– А ну, на глупого удача, – снова отмахнулся Петра, еще хмельно улыбаясь, но зеленые глаза – будто копыя под тяжелыми коричневыми веками. – У Тимы водовозная кляча, вот что у Тимы. У меня...

– У вас, Петра Афанасьич, не в сравнение будь...

– У меня вороной-то... Шея лебединая, пробежка – что у доброй молодушки, а ногами как начнет крендели писать. Бог ты мой-ой.

– У вас уж особь статья. До Хвалынского моря такого нету, а почитай и дале, – утешал кто-то, боясь Петриного гнева. Ведь разнесет все, если что не по его уму.

– А вы у Тимы... Морды поганые, вам бы щи лаптями хлебать.

Заорал, выскочил из-за стола, выбежал вон. Вскоре послышался перестук копыт, дверь распахнулась, сначала и не поняли гости, что к чему: в дверях показался хозяин, в поводу вороной жеребец, храпит, пена на бархатных губах, прыдет острыми ушами и глаза розовые

от испуга. Завел в избу, развернул задом, хвост вороному задрал: жеребец мелко дрожал крупом и косил бешеным глазом.

– Глядите, сколь вы хороши, – гулко хлопнул тяжелой ладонью по сытому крупу.

И кто-то из гостей в порыве любезных чувств поднялся с оловянным стакашом и гаркнул на все застолье: «Батюшко, Петра Афанасьич, за жеребчика!..»

Пузатый ведерный самовар исходил паром и сиял медным надраенным боком, Манька сидела подле, разливая по чашкам чай, а веснушчатый сын егозил на коленях, все хватался ручонками за мамкину грудь, когда вороной вздрогнул и надал задними копытами в столешню. Кипящий самовар опрокинулся, и страшно закричали Манька и ее веснушчатый сын.

Петрин внук умер ночью. А Дорогая Гора не спала, крутилась колесом по ней масляная неделя. И так будет гудеть деревня до чистого понедельника, и вдруг очнется, замолкнет, и станет так тихо кругом, словно вымерли все разом, и тогда, покаявшись и настроив себя молитвой на долгий великий пост, вспомнят и Петриноho веснушчатого внука и скажут: «Бог дал, Бог и взял».

Глава шестая

Три дня не больно долгий срок, а Доньке кажется, что отца целую вечность нет дома. Перед тем как уходить ему на зимнебережный Устьинский промысел, навестил Петра Чикин.

Евстоля не знала, как себя повести да как отцу родному угодить, – ведь первый раз у зятя в гостях; раньше только обещался, а все не бывал, все не бывал, словно обиду на сердце копил. Утиральником скамейку в переднем углу под образами обмахнула, и хотя по весне уже без света жили, с открытыми ставенками, но восковую свечу воткнула в тяжелый шандал и поставила посередке стола. А Петра будто и не видел дочерних хлопот, открыто переживал за сваренного кипятком внука, но мимо его взгляда не прошло, что Евстоля тяжелой стала, ходит утицей и с лица порыжела, – значит, слава Богу, живут ладом, раз наследника ждут; да и Калина тоже вроде бы рад гостю, от самого порога встретил и шубу помог скинуть.

Сидел Петра под образами, тяжело пыхал грудью, на рыхлых щеках синие прожилки, борода совсем посивела, долго на здоровье жаловался: мол, уж такой больней, такой больней, ноги по ночам стогнут, так чисто все жилы вытягат... Как не вытягат-то, соглашался Калина, на работе изломались, из воды всю жизнь не вылезали; у меня самого, как начнет крутить, стоном выстону.

– Сказывают, старшиной в бурсу³⁹ от Дорогой Горы да от Мезени? – будто между прочим спросил Петра.

– Да есть такое дело... Просят.

– Послужи обществу. Общество знает, кому артель доверить. Каково со зверем-то нынче? Виды-то каковы?..

– А Бог его знает. На месте виднее, – пожал плечами Калина.

– Я вот на море решил обратиться. Не знаю, одобряешь ли, нет, а только с извозу одни прогады да хлопоты. Сено натъ, упряжь как на огне горит, харч подай, работников найми, да накорми, да напои, да и денежку выложи. Скоро без штанов буду, – стал плакаться Петра, бросил первый пробный камень, и пошли по воде круги.

– И от моря не больно выгода.

– Ну все же, повезет, дак...

– Разве тогда только. Да повезенка-то баба норовенка. С нею тоже слезхватишь, соплей на кулак намоташь.

³⁹ Бурса – промысловая артель.

– Тебе-то уж грех на судьбу жалиться, – возразил Петра.

– А не што и нажил...

– А я вот к морю оборотился, слыхал небось? – нарочито весело выкрикнул Петра.

– Чего-то было. Три лодки, сказывают, рядишь?

– Все, тут уж все. Коли не будет зверя, Христа ради пойдем. Ты бы, Калина, зятелко, подсказал, как да што...

– Ты быват свой: тут вырос да тут и оброс, – обошел просьбу Калина и тайно подумал: лисовин ты, ой лисовин, ты и хитрого обхитришь. Сколькой год собираешься с сумой христарадничать, а уж всю деревню под себя подмял.

– Помоги отцу-то, чего тебе стоит, – попросила Евстоля. Не бабье дело, а осмелела, вилась около стола, порой и ко краешку садилась, распялив на столешне плотные белые руки с желтыми мозольками на локтях. У отца бы так не посмела, там и глаз выше пола не подымала, а тут хозяйкой повела: хотел прикрикнуть Калина, но сдержался, глянул в замшелое лицо, пожалел: кого-то принесет, вот бы еще паренька, из того-то бы вырастил кормщика, раз Доньку упустил.

– Принеси косушку, – попросил Евстолю.

Та принесла хрустальные рюмки да графинчик зеленого стекла норвежской работы, да ладку с соленым сигом, да каравай ситного; тут же разрушила ножом хлеб на толстые куски, а на широкую плашку еще навалила кислой щуки, тускло голубеющей на изломе. Сразу по избе пошел вонькой душок – и захотелось есть. Потянулись первым делом за щукой, подлили в миску холодной водички, стали макать, сопели, думая каждый о своем. Смеркалось, и свеча оказалась кстати, роняла радужные круги на чисто выскобленную ножом столешню. Донька на приглашение мачехи пойти поесть чего ли смолчал, лежал на полатах сонный, и Калина несколько раз ловил на себе его чужой взгляд... Что-то с сыном, совсем зачужел, в глаза прямо не глянет. Не принимает мачеху, хоть ты убей его, и баба-то не знает, каким боком к нему пристать: только Донюшка да Донюшка. Уж и не хорошо бы, большой, ведь пора понимать, а все на ум-то детский. Осподи, пошто бы не жить миром. И Гришаня вот не заладил, что-то перечикнулись без него с Евстолей; снарядился и в Кельи убежал; как-то там один, никто не приглядит, все самому надо...

Сидел Калина светлый и какой-то молодой душой: в бане помылся, облачился в чистое исподнее, с Богом посоветовался, а сейчас всех родных перебирал, как бы винулся перед ними: уж чего не по вас сделал, так простите. Был телом Калина еще здесь, в родной избе, а душой там, посреди бурсы своей; каково нынче будет, подумал. Порой до тысячи человек на Устьинский промысел сойдутся да как тронутся по льдам в голомень, в открытое-то море, будто войско какое спустилось. В деревнях-то осиротеет совсем, а на зимнебережной стороне словно торг какой, и будто все сами по себе, своей лодкой живут, и харч, и дрова свои, но шагу не шагнут без веления старшины: тут он вам и хозяин, тут он и голова, и светлый ум, и милость, и наказание. Захочет, и на берегу оставит, если провинишься своеволием своим иль пьянством, а то и повелит крепко наказать, и сами же мужики портки снимут и вышплют ослушнику, а тот еще и просить будет мир, чтобы простили его, грешника, да не оставили без промысла. Ой, труден Устьинский промысел, и не один человек порой оставит там свою головушку, и будешь ты навеки умный человек, коли вернулся домой живым да непомятым.

... Доверили, ишь ты, доверили, – значит, по нраву пришелся, коли на третью бурсу выбрали, да и то, если вспомнить, на хорошего зверя в прошлый год вывел. Разыскали, окружили тюленье стадо со всех сторон, да еще морские ветры пособили, сдавили ледины, что чистой воды ни слезиночки, ладошкой не зачерпнуть, – зверю-то и деваться некуда. Тут один взревел хитро так, чисто да тонко, другой пристал, третий заголосил, реву подняли, Бог ты мой, – это скликают друг друга, сказывают: други милые, сбивайтесь-ка в одну кучу, сообщат-то наведем защиту, поднатужимся дружнее да, может, и продавим лед. Вот и лезут друг на

дружку, вот и пыхтят, силу останнюю собирают, и запашина поднялась неимоверная,дохнуть нечем. Туг уж не зевай, не давай им лед проломить, лупи хвостягой, черемховой шиш-кастой палкой, да все по головам, по головам, упаси Боже по шее смазать: заголосит тюлень,кинется в сторону, метаться начнет, всего зверя разгонит, и никакими силами его тогда неостановить. Помчится к воде, как скороход, начнет упираться грудью да задними лапамиподхватывать, никому не догнать.

Большое дело бывает на Устьинском промысле: однажды в сутки и поешь, хорошо еслиполфунта хлеба проглотить, тут и еда в рот не лезет, одним жаром внутренним живешь. Итяжелее этого загребного промыслу ничего на свете нет: недели по четыре земли родимойне видишь, море кругом, одни льды. Под буйно-то завалишься спать, утром подниматься, аголовы и оторвать не можешь, примерзло волосье к одеяльнице. Смертельный этот промысел, верьте Богу, и, осподи, счастлив тот человек, коли жив на берег вышел. А там дележ,каждому поровну и без обиды, на то она и бурса; и как удача пала, много денег архангельскиекупцы за харавину⁴⁰ дадут. А бывает и так, что проплаваешь в море четыре недели, хлебавсе приешь, обутку прирвешь, сторишь и пустой на берег выйдешь, а если еще шторм падетда раскинет сотню лодок, разнесет во все стороны, тут и совсем беда...

Калине захотелось просто полежать на кровати, заложив руки за голову, подремать снеясными мыслями, слушать, как ровно дышит рядом баба, настроить себя на долгий путь:ведь как-то еще все обернется, но гость не уходил, размеренно откусал всего черными разбитыми пальцами... «Со своими лошадьми возится, руки-то и запрели, – мелькнула у Калинымысль, невольно глянул на свои ладони, тоже словно порубленные сечкой, с желтыми кру-гами мозолей. – Не баре, не баре, чего уж там. Достается тоже Петре, на горбе своем хозяй-ство поднял», – неожиданно пожалел тестя.

– Пинежан-то я на свои хлеба нанял, чисто все по закромам подмел, как и жить, как ижить, – неожиданно вернулся к прежнему разговору Петра.

– Ну дак чего, если возможность есть. Пошто нет-то...

– Хлеба-то печеного на лодку одну семнадцать пуд да круп гречневых поболее пуда, дамасла коровьего четырнадцать фунтов, да говядины поболее трех пуд, да рыбы морянки, датолокна... Осподи, неужто все съедят? Одно разорение, за что ни возьмись, то нать и другоенатъ, – жаловался Петра. – Как полагаешь, не лишку на семь-то человек?

– Какого тут лишку. Мужика кормить надо.

– Вот я и думаю так же. А еще каждому покрутчику совик за пять рублей да бахилы,осподи, сколь все дорого стало; да на каждую лодку по сажени однополенных дров да семьбагров, да семь лямок, каждая в десять сажень, две винтовки с порохом да свинцом, да овчинное одеяло. Каждая-то лодка мне в сто рублей палась, а что еще получу, один Бог ведает.Своей рукой себя по миру пустил, осподи-осподи...

– Небось и тебе пять паев пойдет. Свое возьмешь, Петра Афанасьич, ты своего не упу-стишь, – покрутил пальцем Калина. – Мужикам на всех три пая...

– Не нами заведено, тут, дай Бог, на свое вывести, – вскинулся было Петра, загуделнизким голосом, но сразу смял себя, приневолил, подсел поближе к зятю. – Ну, давай, под-нимем посошок.

Стукнулись хрустальными рюмками, чистый звон пошел по избе, даже Донька встре-пенулся на полатах, поднял голову.

– Андельский звон-то, богато живешь, зятелко.

– Всего и заведенья, в Норвеге соблазнился. Уж больно ясно поют.

– Вот и меж нами бы такой звон, а, зятелко? – неожиданно сравнил Петра, намекая надушевную близость. – А то все как кочерга с ухватом скребемся. Тяжелый ты человек...

⁴⁰ Харавина – тюленья шкура с салом.

– Уж какой есть.

– Не обижайся, я к слову примолвился. Богу благодарен, что моей девке такой мужик достался. И ты у меня, чтобы ух! – погрозил Евстолие.

– Да я и так, батюшка...

– Ну то-то, – снял с воронца шапку, Евстолия вилась около, помогала отцу надеть шубу, Петра кряхтел, плотнее насаживая овчину на покатые плечи, ни словом не обмолвился, зачем приходил. Но и не могло случиться, чтобы Петра Афанасьич ради простого любопытства заглянул.

– Дак я пошел, к нам милости просим. Мы по родне нынче не чужаки, – еще потоптался у порога, держась за дверную скобу, между прочим заметил: – Ты мои лодки-то отметь как ли, поближе к себе прижимай. Мало ли что... Я уж тебя после не обижу.

Вот и открылся тестюшка; до самого ухода таился, жалился, водочки распил, длинный разговор до самых потемок вел.

– У меня же бурса, а не твои лодки, Петра Афанасьич. Я там за всех ответчик. И добычу прилюдно делим, харавину лишнюю не накинешь...

– Я говорю в случае чего, шторм там иль што, дак прижимай...

– Для меня ведь каждый, Петра Афанасьич, как волос на голове. Какой ни рви, а все больно.

– Не то, не то баешь, – укорливо возразил Петра.

– Ты батюшке такие слова не говори, – вдруг вмешалась Евстолия. – Он на плохое не наставит.

– Поди, поди, – отмахнулся Калина.

– Как так поди, али я тебе не жена? – подняла неожиданно голос Евстолия.

– Эй ты, цыть, не твоего бабьего ума тут дело, – загорячился Калина, легонько отпихнул Евстолию в плечо, та притворно завывала, – материна повадка.

– Не любят оне меня, татушка, изводят, готовы живьем съесть.

– Ты што, ты што мелешь? – растерялся Калина, замахал руками.

– Вы тут девку мою не забирайте, – не к месту вмешался Петра, его бы дело теперь помалкивать, раз девку с плеч смахнул, но тут нарочно травил Калину, доводя до гнева. – Девка-то золотая, эту девку только в передний угол посадить да молиться на нее.

– Вот и молись, – резко оборвал Калина, слыша, как все закипает у него внутри. Он глядел на Петру и вновь, как много лет назад, ненавидел это жидкое безбровое лицо с выпученными глазами.

– Но-но...

– Не понюгай, не запряг. Иди давай, иди от греха подальше, – засуетился Калина, попетушиному подсакивая. Он был мелок перед громоздким тестем, почти на голову ниже его, но без боязни напирал грудью.

– Но-но, полегче, – отступал Петра, не ожидая такого оборота.

– Иди, иди давай, иль проводить?

– Ты, доченька, если шибко притеснять станут, дак поди в родной дом, – елеинно предложил Петра. – Уж там тебя не ославят.

– А хоть нынче, скатертью дорожка, держать уж не станем, не-е, – раскипятился Калина, а Донька на полатах молчаливо подбадривал, веселясь душой: так ее, тятенька, гони ее, носырю, одни-то во славу заживем.

Но тут Евстолия почуяла беду, бабьим умом поняла, что в таком глухом гневе ссора далеко зайдет, тяжело повалилась на колени:

– Калинушка, богоданный муженек мой, не гони. Любой ты мой, единственный. – Душой сразу поникла, вспомнив, что ждет ее в отцовском доме, если придется уйти отсюда: тогда лучше сразу и в омут, где баба Васенья утонула.

– Да ну вас, – плюнул Петра и почти побежал вон, еще бормотал вслух: «Больно много на себя несешь, больно высоко себя ставишь. Да уж поглядим-ко, каково...»

Калина сразу растерялся, увидев на лице бабы своей проливные слезы и распухший красный нос; бросился поднимать ее с пола, втайне больше всего жалея будущего сына, которому глупая жонка могла навредить, а когда Евстоляя приникла набухшей грудью да зафыркала Калине в плечо, щеkotно роняя слезы, он сразу и растерялся, жалость затопила душу, – и словно ребенок малый возле мамки, топтался нерешительно и робко гладил литые опущенные плечи:

– Ну Господь с тобой, Евстолюшка, да сорвалось с языка, будь оно неладно. Да и ты тоже хороша, не ко времени сунулась. Ну перестань же, ой разнюнилась, избу-то скоро затопишь. – Евстоля всхлипнула последний раз, широко улыбнулась сквозь слезы:

– Да, чего ты, все чего ли...

– Ну-ну. Господь с тобой.

Потом они лежали на кровати, Калина долго не мог уснуть, ширил глаза в темноту, рядом ровно дышала в плечо жена, и он чувствовал к Евстоле ровную тихую благодарность за то, что она лежит рядом и тепло сопит, и тут же назойливо бранил себя, что вот не сдержался и наговорил Бог знает что, и не мог толком объяснить, что к чему. А Петра про лодки свои заладил. Если каждый пойдет ко мне да все про себя просить станем, тут и бурса рухнет, запросто рухнет, а ведь артелью и держимся в море, без артели беда, ложись и помирай.

Так бестолково еще думал Калина, винил себя, что не сдержал гнев, тягуче вздыхал, и сон бежал от него.

И вот три дня минуло, как опустела Дорогая Гора. Добрая сотня мужиков ушла на зимнебережный промысел доставать тюленя, и с угора еще долго было видно, как по Кулою в сторону моря вился длинный обоз; мужики шли подле лошадей или цеплялись за передки розвальней, а в санях везли зверобойные лодки, многие сажени дров, без которых в зимнем море смерть, харч и всякий промысловый скарб. Ушли мужики, словно бы растворились в снежном безмолвии, и многим на деревне тогда стоскнулось...

А нынче Доньке Богошкову сон явился, стыдно самому вспомнить, ой грех-то: будто с тяткой вениками напарились, Донька ошалел и к протоке выскочил, а Курья почему-то уже по-весеннему растекалась, и кусты по берегу опушились легким листом. Подумал, вроде бы не ко времени лист на дереве, еще и пасхальных яиц не били, но в Курью нырнул с разгона и обратно в баньку... А там, осподи, уже и не тятка сидит на полке, а баба какая-то голая, и лицом-то отворотившись, словно бы стыд ее берет, красная от жара, мокрые волосы сосульками на плечах. Доньке бы вон из бани, а ноги приросли, будь они неладны, и еще почему-то спросил: «Тятка-то где?» А баба-то и позови: «Донюшка, потри-ко здесь», – и на грудь свою тычет: но лицо-то все сторонит, будто и вовсе без лица. И Доньку словно кто за руку и ведет, а баба тут лицо-то и покажи: Боже праведный, да то мачехи лицо, но только беззубое, в рытых шадринах⁴¹, и волосы не мокрыми сосульками, а седыми куропадчыми крыльями, и на пальцах когти железные, и она этими когтями за шею, да и ну мять, ну давить ее: «Ой, любо как, ой, сладко...»

Проснулся Донька впотемни, овчинное одеяло сбилось на лицо, замоталось вокруг головы, едва освободился от потной овчины; вспомнил сон и сразу загорелся от стыда и смущенья, потом долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в низкий потолок. На кровати заворочалось Евстоля, зевнула «ох-хо-хонюшки», слышно было, как скрипнуло дерево, мачеха чесалась, сонно бормотала что-то, хотя и можно бы поспать ей, поваляться

⁴¹ Шадрины – оспины.

без мужика на кровати, а не спится вот, в три ночи уже словно кто глаза раскрывает и велит вставать.

Удивляясь чудному и страшному сну, Донька стал собираться на работы, а сам любопытно и тайно подглядывал за мачехой, за ее неуклюжей поступкой, удивляясь, за что ее только и отметил отец и что выглядел в ней близкого сердцу. Потом наскоро помакал вчерашней рыбы, запил квасом, горьковатым и протухшим; вспомнилось, какой квас настаивала мать, душистый, слегка кисловатый, и сразу взгрустнулось.

... За ночь на улице выстыло. Снег потончал, высох и сейчас скрипел, как подгорелый хлебный каравай, лужи тонко лопались, прыскали студеной водой, утренний воздух будоражил, пахнул дымами и свежестью, вызывал легкую и томительную жажду, и его хотелось пить, как матушкин квас. Подмороженной дорогой идти было весело и легко. Донька побежал, по-детски размахивая руками, вприпрыжку, и странные сны сами собой оставили его.

Парусник виделся издалека, он стоял на городках, словно большой белый зверь, вытягивающийся от сна.

Мужики хотели спустить шкуну на первую большую воду и потому за топоры брались спозаранок. Обычно у суденка толпились ребятишки, копаясь в носах, что-то гундосили неясное, стояли час и другой, потом неожиданно срывались с места, словно кто подстегивал их, и уносились оврагами в подугорье. Сейчас у городков было пусто, но уже с той стороны доносило дымом, из осадистой, сбитой из глины печи вырывался порою огонь, и розовые отсветы его на снегу виднелись от деревни. Порой там кто-то появлялся, скрывая собою малиновые отблески, и орудовал кочергой: наверное, Егорко Немушко всех опередил и сейчас готовил набой – бортовые доски. Тут из-за печи вышел и Гриша Деуля, прислонил ладонь к глазам, высматривая, кого там леший несет по угору, и по неловким шагам признал сразу Доньку-подручного и, конечно, что-то сказал руками Егорке Немушко, потому что они вдруг встали рядом, поджидая парня.

– Здорово ночевали! – крикнул радостно Донька.

– А што спать-то – слава Богу, – ответил Гриша Деуля, пожевал губами, вроде бы собирався еще что-то добавить, но только махнул рукой, и теперь, пожалуй, до второй выти будут здесь только молчанка и потная работа. Егорко еще помешал кочергой в печи, пламя загудело, лисьим хвостом сунулось из топки; в медном котле, обмазанном наглухо синей глиной, вода яро шевельнулась, захлопотала, толкаясь в брюхо котла, и пар потянулся в длинную деревянную трубу, поставленную на козлы.

Еще помедлили чуток, мастер сбил на затылок коричневый овчинный треух, открыл трубу и вытянул оттуда длинную сосновую доску с капельками смолы на желтых разопревших жилах; сразу замычал, багровея лицом. Тут заспешили, схватили доску в шесть рук, зажали в клещи, стали колотить клинья, напирая распаренный набой к сосновым тесаным кореньям, которые топорщились из кия, как ребра обглоданной нездешней рыбы. Доска была еще горячее, и пахучий жар ее пробивал кожаные рукавицы, а мастер что-то смекал, вглядываясь в набой; подгонял его циркулем, оставляя едва видимую черту, словно бы кроил кафтан: тут все творилось без слов, и не потому только, что мастер был нем, а просто не просились слова на язык, да и некогда говорить в жаркой работе. За годы мужики приросли друг к другу, как мясо пристает к костям, как любимая рубашка льнет к телу и сгорает от старости. Тут достаточно было кивка головы или движения плеча Егора Немушки. И вот уже Донька сверлит напарией сквозную дыру, Гриша Деуля забивает нагель и расклинивает его с конопаткой, чтобы не сочилась вода, а потом дыру схватывают медными заклепками; и тягучие удары разносятся куда как далеко в весеннем просторном воздухе, толкаются в дома и, кажется, будят окончательно деревню, потому что оттуда с гиканьем сыплются пацаны; словно бы ожидали они это мгновение на задах изб, а сейчас вынеслись под косогор, обошли кольцом брюхатую шкуну и сразу замолчали, тараша светлые глаза.

А мужики уже скинули с плеч балахоны, остались в суровых рубахах до колен, кожаные пояски обжимают на лбу вспотевшие волосы, и некогда вытереть соленую влагу, капнувшую на глаза, потому что у корабельного мастера Егора Немушки нет усталости, а в его сухом, свитом из кореньев теле нет воды, и пока не кончатся в желобе доски, он так и будет крутиться, изредка гыкать и пузырить слюной тонкий белый рот.

Так доска на доску внахлест шили корпус, грудастый, как яйцо, с потеками серы и дегтя и бисером заклепок по бортовинам. К полудню солнце растеплило снега, на высоких рыжих буграх туманно парит просыхающая земля, запахло мягким деревом и набухшим льдом с реки; на той стороне таинственно посинела тайга, и ближние кусты ивняка вспыхнули желтым ослепительным сиянием, словно бы облитые парным молоком.

На дневную выть мужики пошли в деревню по своим избам, и среди троих Егорко Немушко выглядел совсем подростком: последнее время только сбелел волосами, как зимний заяц. Распрощались кивком головы, разошлись по околоткам. Донька миновал избу Павлы Шумовой и на взвозе увидел Клавдю Петрухича. Тот вихлялся на жердинах, стараясь порушить и без того дряхлое житье, а заведев Доньку, скатился вниз, широкий в груди не по летам, вылитый Петра Чикин, и в выпученных сорочьих глазах проявился дерзкий интерес.

– Эй, Петрухич, – крикнул Донька, – про Яшку ничего?

– Не-ка, – крутнул головой Клавдя и полез пальцем в нос.

Донька потоптался, решил повыспросить все у самой Павлы, – правда, в Дорогой Горе поговаривали, что баба нынче совсем плоха стала, с головой у нее нелады, больше сидит дома и редко выходит на деревню. Нашел он Павлу в избе: хозяйка понурилась в переднем углу, волоковые оконца наглухо забиты соломенными матами, душина стоит, дышать нечем: в светце неровно горит лучина, и в тусклом желтом свете выглядела Павла бабой-ягой. Как-то быстро ссохлась жонка, потеряла могучее тело, лицо обросло зеленым мохом, и жидкие волосы выцвели, будто зимняя трава. Баба встретила Доньку молча, каким-то неспокойным взглядом уставилась в лицо, и высохшие кривые пальцы непрерывно ползали по груди, словно Павла только что теребила от пера весеннюю птицу и сейчас обирала с фартука налипший пух.

– Во, завсе так, – прошептал за спиной Клавдя.

– Яшу не видали? – спросила Павла Шумова, быстро шагнула навстречу и застыла на середине избы, ожидая ответа.

– Я было сам того, сам хотел... – растерялся Донька.

– Яшу не видали? – быстро по-птичьи повторила Павла.

– Она завсе так, уж не знаю, как и жить боле, – сказал за спиной Клавдя.

Донька пожал плечами, грустно оглядел избу и, не зная чем помочь, пошел, а за спиной словно бы каркала хозяйка:

– Яшу не видали?..

Глава седьмая

В самый Георгиев день тронулся на Кулое лед, бабы и девки бегали на реку, плескали на лицо вешней водой-снеговицей, намывали красоту. Старики глядели на водополе с горы, подставляя лысые высохшие головы апрельскому солнцу, и говорили: «Ну, с Богом, батюшко Кулой... Уж Георгий с водой, то и Никола с травой, скоро скотину на волю пускать. Дожили опять до красной весны. А теперь и жить надо, куда денессе».

Вскоре дорогоры провожали своих лошадей со двора с иконой и зажженной свечой, потом согнали их за околицей в одно место. Пастух Сеня Тин, мужик с бабьим лицом, выдирал из каждой гривы по волосине, собирал в берестяной туес, чтобы лошади дружнее паслись и чтобы зверь над ними власти не имел. Мужики ходили следом, серьезно спрашивали:

«Ну как, с бабой-то простился, не потянет боле? А то гли...» И Сеня Тин, не поведя бровью, отвечал: «Я в шалашик перебрался, в шалашике я». С нынешнего дня и до самой осени не знать пастуху своей бабы и жить с нею отдельно, чтобы не завязалась нечисть и не порушила стадо.

Вечером десятские бегали с батогами по деревне, стучали в подоконья, сзывали на сходку. Дорогая Гора нынче людная, мужики вернулись с Устьинского промысла с хорошей наживой, уже перемылись в банях, согнали усталость, отогрелись на печи и сейчас не упирались и охотно шли в мирскую избу, хотя в обычное время их и палкой не загнать, все какое-нибудь заделье сыщут, только бы не идти, и на все у них отговор: «А чего идти, путно бы што, а то время только убивать. Говорильня одна, и без нас решат».

Шли в мирскую избу угором, там рыжие холмушки подсохли, и сквозь сивые пласты прошлогодней травы ершилась зеленая молодежь, по небу плыли редкие прозрачные облачка – Божьи барашки. Солнце уже садилось, и притихшая после половодья река ровно катилась, будто бы налитая медью. Около мирской избы дорогоры сбивались в кучки, толковали о том о сем; самые крикливые мужики вились около Петры Чикина, тот высился горой меж них. Около Калины Богошкова тоже кружит народ, но тут больше молчали, еще вспоминали промысел и ненастный взводень, когда уже набили тюленя и шли к берегу, но, слава Богу, слава Богу, все обошлось; и сейчас на душе было покойно от тихого благословенного вечера, от недавней удачи, от мягких неторопливых слов. Заходили в избу по зову старосты, кланялись иконам, клали свои шапки на полати и воронец, рассаживались по лавкам чинно по богатству и званию; свое место знали и свиное рыло в чужой огород не совали и дела не торопили.

Староста сидел за столом, добрый отечный человек с большим горлом, оттого с постоянным платком на шее; подле писарь чистил гусиное перо, смотрел на свет, тер его о коричневую понитчину, будто в нем и заключалась суть дела. Лицо писаря стало чужое и незнакомое деревне, словно и не бегал по Дорогой Горе Владимирко Попов еще сопливым, так и звали тогда – сопливый губан; потом как-то пристал к священнику мезенскому и выучился, говорят, большой грамоте. А косоглазый, ведь от роду косоглазый, смотри ты, и глаза не помешали. Но ловкий мужик, меж пальцев у него не протечет, из рук не выпадет, и сейчас будто в потолок смотрит, а косым глазом далеко видит, ой как далеко, и порой щурится, словно бы подмигивает кому. Круто знает свое дело Владимирко Попов. И когда староста заговорил тихим могильным голосом, все мужики на писаря глянули, словно он говорил речь.

– Миряне, срок-то на владение нашею запасной землей Иванкой Качеговым сейгод кончился. Арендные деньги с него получены сполна... Где ты, Иванушко, поди-ко сюды, пусть народ честной на тебя поглядит. – С лавки поднялся волосатый низкорослый мужик, встал у стола, и все мужики уперлись на него глазами, словно впервой видели его. – Он просит снова заарендовать землю – так, Иванушко?.. – и дает прежнюю цену восемь рублей за десятину, – скажу сразу, цена достойная. Отдать ли ему по-старому, иль кто хочет торговать, опричь его это дело? Нужно решить нынче нашим сходом, для того и сошлись, миряне. Решайте, братцы...

Мужики загудели тихо, но назойливо, будто гнус перед дождем, хвалили пашню, поднимали Иванку Качегова: мол, добрый мужик, не уронил землю, да и сам на ней поднялся, уж седьмой год арендует, а мир на него зла не держит, и вот, опять же, ведро водки ставит...

– Дак отдать, миряне? – взывал староста хрипло и каждый раз морщился и закрывал глаза, словно бы ему тяжело глядеть на мир: он сам с нетерпением ожидал нового схода, когда освободят от должности и можно будет отдохнуть от навязчивой доуки. В прошлом году насели навалом, давай да давай, ты человек праведный, да и урону для дома большого не будет, два сына дом хорошо ведут, поглавенствуй над Дорогой Горой. Навалились – и

откупиться не мог, а нынче еще болезнь проклятая и навязалась, знать, простыл на озерном лове.

– Охочих никого нету, братцы?..

– Пусть владеет, чего там, – неровно загалдел мир, вглядываясь в большой угол, где сидели каяфы⁴², которые еще не уронили голос. Тут поднялся Петра Афанасьич, оглядел сход, и все притихли: один вспомнил, что сев на носу и придется опять же идти к Чикину на поклон, чтобы зерном помог; другой подумал, что хлеба призял еще зимой, а отдавать будет нечем, хорошо бы Петра Афанасьич еще погодил с должком, третий был у Чикина в захребетниках, ходил за лошадьми; кто-то покругчиком плавал нынче на его хлебах, а плату еще не получил... Тут пришло на ум, как Петра однажды покупал у Мины Чуркина лошадь: хозяин просил семь рублей, сходная цена, а Петра четыре с полтиной предложил. До пятерки доторговались, на полтиннике споткнулись, больше не захотел уступать Мина, и так за дешево отдавал, да вот деньги были позарез нужны: подати платить нечем. Встал полтинник между мужиками, ушел Петра, а на прощанье еще и посулил: «Ну погоди...»

Мина Чуркин свел лошадь на базар и продал ее там за двенадцать рублей, но эти деньги уже не принесли ему счастья. До самой смерти пакостил Петра: то из хлебных списков вычеркнул – и мир промолчал; потом предложил выбрать церковным старостой, а Мина заболел – и ему пришлось нанятому за себя платить по рублю в месяц. И тут мир молчал, словно забыл, что лет тринадцать назад грозились выгнать Петру Чикина из деревни и звали прилюдно не иначе как Петра Глот. Забывчива человечья память; словно никогда не ел Петра Чикин от жадности живой кукушки, этим на века опозорив родную деревню; будто всегда он был в высоких кожаных сапогах и в синем кафтане из базарного сукна с поясом в золотых кистях. Нынче сидели мужики, опустив головы, мяли в ладонях полы кафтанов, царапали слоистыми желтыми ногтями черные борозды на ладонях, но уши сторожко шевелились: что-то скажет каяф. И только середина лавки стала мутить воду:

– Хватит Иванке... Таковую-то землю воля пахать. Не земля, пуховинка, по сту зерен в колосе-то дает... С земли и пошел. Другим тоже нать... каждый охоч до такой землицы. Ее хоть заместо меда на краюху мажи, такая землица сладкая да скусная.

Кричали горланы и помнили, что Петра Афанасьич еще до схода обещал два ведра водки, а он-то свое слово сдержит. Чикин прошел к столу, остановился подле Качегова, и стал тот совсем невиден.

– Ты уж попользовался, Иван Сидорович, – сказал Чикин. – По-Божески нать, а? Восемь с четвертаком за десятину даю...

Все охнули – такой цены за землю еще никто не давал. Но тут поднялся Калина Богошков, оправил на груди шелковую бороду. Лицо черное от вешнего солнца и морского ветра, с усохшими щеками: выжало море из мужика всю воду, оставило только жилы. Пошел зять на тестя с открытой грудью, говорил слова ясные, но всем показались они дерзкими, и мир потупил голову. Только косоглазый писарь глядел в потолок, и ехидная улыбка дрожала на тонких губах.

– Куда тебе с землей-то, Петра Афанасьич? – спросил Калина. – Грех мужика забижать, кусок ведь изо рта рвешь.

– Пока мир решает, зятелко, а не ты, – ласково откликнулся Петра, но в глазах его народился холод.

Поняли люди, что не простит теперь Петра Афанасьич своего зятя до самой смерти.

– Ты ханзинскими землями кой год владеешь?

– А бери, Калинушка, коли любы... Хвощ да осоту за двадцать верст доставать кому охота. Ты бери...

⁴² Каяф – богатый крестьянин в Поморье

– Мне-то не нать, а мужика не забижай.

– Он мужик, а я, значит, князь? Будто я не ломил, как медведь, иль своим горбом не наживал. А может, ты копейку ко мне в сундук ложил? Пошто молчишь-то? Иль я против мира што несу, а? Братцы миряне, неуж я не как прадеды наши, так остановите меня. Может, я что худого содеял, дак подскажите?

– По воле мира, Петра Афанасьич, – закричали горланы.

– Видите, Калина Иванович, зятелко дорогой. Стройте мир по образцу своему, по подобию и не предавайтесь зависти. Осподи... Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, царя Соломона и всю премудрость его. Не нами сказано: шутки шути, но людьми не мути.

– Что скажет мир? – снова спросил староста, виновато оглядывая Калину. Потом добавил тихонько: – Тут ведь как мир скажет...

– Тоже восемь с четвертью даю, – крикнул Иванко Качегов, словно в студеную воду прыгнул с закрытыми глазами. – А больше не могу, как хошь.

– И я не могу, я деньги не печатаю, – сказал горестно Петра Афанасьич, и глаза его накрылись крупными коричневыми веками. Горестным было все его лицо, словно кто несправедливо обидел мужика и покинул его в печали. Писарь косо глянул в толпу и простучал пальцами по столешне.

– За кого, миряне? Больше никто надбавить не может...

– За кого Бог, за того и добрые люди. Ну что ж, Иванко, отступайся, – веско сказал большой угол. – Напользовался, чего там. Да и ты, Петра Афанасьич, уважь мир, надбавь четвертачок.

Потом высыпали на волю, вздыхали облегченно, что все благополучно разрешилось: что и говорить, добрый мужик Иванко Качегов, но разве мало на деревне добрых печищан⁴³, готовых утешить словом и сердцем, но Петра Афанасьич один, благодетель, он хоть и шкуру с живого снимает, а благодетель, и на него даже не грех помолиться. Возле изгороди десятский вился, в руках четвертная бутыл, кричал нетерпеливо, почти зло, мужикам: «Эй-эй, сюды...» – и показывал на сухой угорышек. Легли печищане близ изгороди на просохшие холмушки, как бы спрятались от баб своих, сразу по кругу пошел оловянный стакашек, опрокидывали водку залпом, закусывали рукавом кафтана, и глаза наливались живым неразумным блеском. Тут вышел из мирской избы Петра Афанасьич, немного растерянно оглянулся, словно решая, куда пойти, а ему уже махали от изгороди руками, зазывали к себе: «Благодетель вы наш, Петра Афанасьич, не побрезгуйте нашей кумпанией. Мы за вас горой...» Кто-то уже хлопал Петру по плечу, лез целоваться, кричал в ухо: «Мы-то ведь все панимам. Добро-то и скот понимает, так ли, Петра Афанасьич, а мы ведь человеки», – и неожиданно плакал горестно, искал взглядом стакашек, чтобы добавить внутрь зелья и осушить слезы.

⁴³ Печищанин – деревенский житель.

Часть пятая

Души в ад не отдать – так и богатым никогда не бывать
Поморская поговорка

Глава первая

Не сдержали уговора корабельные мастера, не угодили суденком на вешнюю воду: Егорко Немушко руку потянул в плече, да столь сильно, что с неделю пришлось на печи лежать и оттирать коровьим маслом, но как поднялся на ноги, то уж дня-ночи мужики не знали. Обшили бортовины для крепости пареным вересковым корнем, проконопатили (от деревянной колотушки у Доньки пальцы скрючило), потом просмолили; настелили телдоса, чтобы упруги закрыть и вода под ногами не хлюпала. Поверх палубой накрыли, протянули стоячий да бегучий такелаж из чесаной пеньки и полотняными парусами одели мачты. Большая родилась шкуна, на четыре тысячи пуд, на такой не страшно будет и на Матку бежать, и на Грумант. Но как срядились да оглянулись вокруг, уже Петровщина приспела, самый конец июня.

Большие воды стояли, самая пора спустить шкуну в реку, дать ей большое плаванье. Люди глазели, примерялись, судили, как побежит посудина да будет ли устойчивой на волне, послушной руке и парусу: находились знатоки, цокали языком, вспоминали шкуны и шняки, на которых ходили на Матку, порой загорались и готовы были хоть сейчас столкнуть на воду и завесить парус. И только Егорко Немушко молчал, тянул свою вересковую трубочку, пуская дым в лица слишком разговорчивых мужиков, те плевались, особенно старой веры печищане, ругали Егорку: «Разве у табашника чего путного выйдет», – оскорбленно уходили в деревню, чтобы назавтра снова навестить и поцокать языком. Ведь не каждый день в Дорогой Горе рождались такие посудины на четыре тысячи пуд, да и эта еще отстоит на городках день-два и спустится рекой вниз, а там морем в Мезень, во владение Гриши Антипина, тамошнего купца. И когда ругались мужики зряшно, чтобы только разбавить скуку, Егорко по-своему переживал, не терпя посторонних взглядов, собирал клочковатые брови к самому утиному носу, показывая обидчику спину: мол, поди-ко ты, – медленно брякал деревянной ладонью по гулкой груди шкуны и касался ее волосатым ухом, словно что услышать мог. И Доньке было обидно за мастера, и он тоже быстро сердился, будто случайно толкал мужиков костистым плечом и бурчал: вот крутятся тут под ногами, дело вести мешают, а лучше бы шли по избам да путали бабам юбки. Неловкое суеверие немого мастера, налитое в тревожных серебристых глазах, передавалось и Доньке, и он тоже поджидал какого-то несчастья, когда они подрубят держак и посудина скатится в Курью.

Вот почему спустили шкуну белой ночью, когда на востоке едва просыпалось державное солнце. Помолились златоглавому батюшке, отбив поясные поклоны; Немушко что-то гудел, кривил черный пустой рот и от солнечного света серебристые глаза его стали желтыми и ангельскими. Потом взяли в топоры бревна-держак, корабль скрипнул днищем, словно не решаясь тронуться с городков, и, набирая ход, скатился в приливную воду. Задрожала река, смуглая от солнца волна косо пошла от берега к берегу и выплеснулась на кровавый камень-арешник. Что-то неуловимо прекрасное было в мягких обводах суденка, и у Доньки счастливо дрогнуло сердце. В челне вместе с Гришей Деулей подплыли к шкуне, где Егорко уже запускал паруса; быстро разобрали снасти, ветер тронул и надул белые полотна; туго забила вода под смоляными бортовинами, и первая чайка, грустно икнув горлом, почти

свалилась на мачту, потом испуганно зависла над нею, кося на мужиков черным немигающим глазом.

На полной воде шкуна скатилась в Кулой, и деревня бежала следом за суденком, еще черная в белой ночи, будто наглухо застегнутая и похожая на вдовицу-староверку. Донька стоял у бушприта, держась рукою за снасть, и ему вдруг мучительно захотелось плыть долго-долго; и он впервые почувствовал, как хорошо, наверное, идти сначала рекой, а потом морем, и волны будут завиваться под днищем, высоко вздымать шкуну, стараясь оторвать ее от гребней, а потом суденко начнет стремительно падать, и сердце пугливо и жутко-радостно замрет, как во сне. И Донька позавидовал отцу, что он может уплыть к дальним островам, и удивился его нерадостному, печальному лицу, с каким он обычно возвращался с моря и долго приходил в себя, отогреваясь баней и русской печью. Сидел на завалинке, как старик, шевелил тусклыми губами, и глаза его были мутные и сонные, как у хворого. Но почему у него, у Доньки, нет особой радости на душе, а только довольная усталость при виде своего первого топорного творенья, а еще вчера казалось: Бог ты мой, что будет, что будет, когда шкуна скатится с городков в реку и плавно качнется на высокой воде. Донька, наверное, встанет на голову, нет, пожалуй, он будет долго бродить по деревне с горки на горку, а мужики и бабы начнут тыкать в него пальцем и говорить, словно глухому: «Гли-ко, гли-ко, сколь паренек у Калины Богошкова боевой...»

Шкуну поставили чуть выше деревни, на глубоких яминах, где и в самые сухие годы хранились черные омуты. Егорка в хлюсты – корабельные ноздри – кинул якорь, тут же спустили на мачтах белые одежды, шкуну развернуло вдоль реки, и она стала похожа на большую морскую чайку, пронзенную двумя острогами. Посредине нее, на палубе, Гришка Деуля развернул холстинку, достали общий харч и стеклянный полуштоф водки; Егорко налил в точеную расписную чарку, обнес по кругу: каждыйпил по трети, молясь на восток и благословляя солнце, ибо что может быть лучше на свете радостного солнца в радостный день. И под это молчание, под тягучее гиканье Немушки Донька тоже приложился к чарке, опрокинул водку в себя впервые в жизни и задохнулся слепо, потом пьяно ослаб, привалившись спиной к борту. Ему хотелось смеяться и плакать, потом он пополз на коленях вдоль палубы, щупая холодные заклепки и шероховатые смолистые доски, и все ему казалось чудным. А когда вернулся к трапезе, чарка уже снова ждала его, и Донька опять выпил, уже свободнее, потом повалился на спину, раскинув руки и вглядываясь в черные маковки мачт. Ветер поднялся, в хлюстах позванивала якорная цепь, что-то гундосил Егорка и Гришка Деуля, распахившись, рассказывал ему руками, хлопая себя по ляжкам и плечам. Донька глядел на них, как сквозь туман; под днищем плескала вода, палуба мерно качалась и будто уходила плавно вниз. И, счастливо улыбаясь, Донька уснул и видел себя в большой холщовой рубахе до пят; будто он разгребает щепу, а она наплывает на него, смолистая и колкая, готовая утопить под собой. Парень отчаянно перекатился на живот, и его вытошнило.

Проснулись они ошалелые от водки и солнца, едва продрали опухшие глаза и поднялись над бортами: деревня была белой от жары, на горе толпился народ, что-то кричал и махал руками.

Нынче Петровщина, большой на деревне праздник, когда девки-хваленки идут на смотренье. И Тайке дозволено впервые похвалиться прилюдно большим нарядом, который до времени поджидал девку: не от бабки-матери, как в других семьях, дошел он, а отец справил любимой дочери. Распахнула темный сундук, крытый узорным железом, в прохладной глубине ее девическое приданое, которое уже не раз перебрала да примерила темными зимними вечерами при свете лучины, когда в призрачных сумерках особенно тяжелы шелка и бархаты и зачарованно льются нитки жемчугов в потные от волнения ладони.

Вилась Тайка перед зеркалом в летней избе, не знала, с какого бока приступить к нарядам, хотя уж как торопилась, и сердце почему-то спешило, колотилось, и не унять его: словно исполнения тайного желания ждала сегодня девка, и оттого так не терпелось ей выскочить за деревню в общий круг. Тут зашла Манька, всплеснула по-бабьи руками: «Осподи, ты еще в одной исподней рубахе? Танька Корешиха давно уж торопилась мимо окон, и Санька Тиуниха. Все подруги в кругу, а она-то, осподи...»

Некрасивой в замужестве стала Манька, желтые пятаки под глазами, губы злые посулились вниз; правда, после гибели сына поуспокоилась, перестала о хахале думать, да и с отцом вроде бы поближе. Нынче не повышал Петра перед Манькой голоса, задабривал ее подарками, оттого и носила баба голову высоко, мамку из больших вытеснила, завладела родительской квашней, а мать сразу голос потеряла, стала еще больше грузнуть, одолела ее водянка. Августа теперь все в своей светелке, спустится вниз только на выть и не ест, пока не подадут, а как пойдет по гостям, только и плачет: «Ой, деточки родимые до чего довели. Не могу я боле, не-е. Скорей бы нито и помереть». Когда при Маньке так же заплакала, дочь только съежила злые губы, прикрикнула: «Ну и помирай, чего ждешь-то».

– Ну как я? – крутилась Тайка в новых выступках с подковками да медными гвоздочками: подошвы дробно постукивали, словно орехи кололи.

– Красива ты, Тайка, – грустно откликнулась сестра.

– Ври-ко, ври-ко, – зарделась Тайка, вглядываясь в таинственную глубину зеркала, откуда выглядывали на нее тревожные глаза, налитые зеленым светом, и маленькие пересохшие губы.

– Ну страшна тогда, страшна, как бабка Лампеишна, – притворно сказала Манька. Оправила сестре толстую косу, шелковую рубаху с кумачовыми наплечниками одернула. Был на Тайке бархатный малиновый штоф до самых выступок, хотела шугай атласный с оторочкой из беличьего меха накинуть, да Манька остановила, мол, куда ты экий груз натягиваешь, ведь сопнешь вся, жарина-то несусветная. Примерила тогда девка коротенку⁴⁴ из парчи с шитыми золотом цветами, и сама своей красоте подивилась тайно, вздохнула и по детскому пламени щек добавила румянами: совсем боярышней стала. Пойдет деревней за околицу, и старые старухи будут глаза на ней оставлять да переспрашивать: «Андели, да чья это косата-голубушка, сколь красовита она да наряжуца». А Тайке взгрустнулось, не хочется ей на себя смотреть: если бы Донюшку выглядеть, и неуж не придет желанный, не глянет на мою красу девичью. Вспомнилось, как недавно к Евстолие бегала, у порога прут от свежего веника положила тайно, долго сидела, какие-то пустяковые разговоры вела, томилась, ждала, когда Донька придет. А слышала стук ворот на повети, всполошилась, и сердце не унять. Вот почто так случается с девками красными, подскажите, люди добрые: еще только ворота скрипнули, а душа жаворонком затрепетала. Парень вошел, уж на него более глянуть не могла; побоялась выдать любовь свою глазами, почти побежала за порог, чтобы Евстолия не опередила, а иначе вся присуха пропадет. На другой день баня была, у отца выпросилась: «Пусти меня, батюшко, в первый жар ненадолго, что-то поясницу выломило, дай попариться своей меньшей дочери. В баню заскочила, нагнала пару, прут от веника бросила на полоч, сама на полу сидит да приговаривает: „Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне раб Божий Донька Богошков“.

– А не пойду никуда, ни-ку-да не пой-ду-у, – вдруг завывала Тайка, и детские губы обиженно потекли вниз. Стала срывать с себя душегрею да шелковые платы с плеч, а девичью повязку на голове из малинового штофа с завесью из бисера не трогает, ждет, когда сестрица остановит ее да уговаривать будет.

⁴⁴ Коротенка – род женской шубейки.

– И не ходи, – хитро согласилась Манька. – Пусть Танька Корешиха твоего парня перебьет.

– Нету у меня никакого парня...

– Знаем, по ком сердце тоскнет. Сами из девок бабами стали. Ой, Тайка, сколь красива ты да баска, – вдруг всхлипнула сестра, у нее тоже подкатила горесть к самому сердцу, вспомнила вдруг любимого дружка, с которым разлучила судьба. Ой, как жить тогда не хотелось Маньке, и день летний казался темнее студеной ночи... Но взяла себя большуха в руки, рукавом осушила слезы, и еще злее и тверже стали губы, и сердито блеснули глаза. – Поди, поди, чего ерепенисся...

Хлопнула дверью, спускаясь по лестнице, кляла себя, что уронила гордость перед меньшей сестрой, а большухе не пристало выказывать свои слабости.

Тайка сразу поняла, что уговаривать ее никто не станет, туда-сюда толкнулась, жарко стало в большом наряде, решила только прохладиться да одним глазом глянуть, что делается на улице. А на деревне желтая пыль вьется, придорожная трава потускнела, в свете улицы далеко видна пестрая толпа, и оттуда льется сдержанный человеческий гул, словно вышла из берегов река и потекла по взгоркам. Солнце палило, звенели у дома большие черные мухи, от просохших стен пахло смолой и терпким жаром. Над тайболой среди бела дня выстелились дымные сумерки, там словно кто-то великанский беззвучно стрелял из ружья, и витые сполохи неожиданно рождались, высвечивая кромку неба. Оттуда шла гроза, но в этом безветрии она дотянется, может быть, к вечеру иль вообще пройдет стороной, но воздух напрягся, загустел, и у Тайки сразу прилипла к спине шелковая рубаха с вышитыми намышниками. Кто-то промчался мимо, шелестя сарафаном, и только со спины Тайка узнала Пинку Верховку. Из самого бедного дома девка, и та нынче в большом наряде – небось кто на гулянку дал из милости, а потом Пинка за этот наряд отработает на поле иль полы вышоркает. Но уж если Пинка на круг летит, то Тайке просто грех не быть там, тем более впервые в жизни, когда на кузьминки шестнадцать годков стукнуло. Теперь уж не девчонка она, которую каждый мог коленкой пониже спины поддать или косу на руку навертеть от баловства и дикости, нынче Тайка – девица-хваленка: ее сваты могут высматривать да парням-женихам нахвалять. Вот отчего все дорогорские девки в круг спешат, чтобы там повыхаживаться и себя перед народом добрым в самых лучших видах показать.

Тут уж не стерпела Тайка, подхватила подолы, и только пыль завилась под выступками: ей бы горделиво пройти околотком мимо старых старух, которым нынче тяжело даже за околицу выползти, вот и торчат посреди улицы, как трухлявые сыроежки, поджав морщинистые губы и сцепив пергаментные руки на груди. «Ой, кто така скороходовна? Андели, да это не Тайка Заугольщица. Словно кто настегал крапивой». – «У них завсе таки девки неурядливы да неуступчивы», – шелестел вдогон другой голос. А Тайке что эти пересуды, она, не слыша земли, летела за деревню и обидчиво думала: «Ну и пусть не глядит, больно надо, вешало стоеросово. Идет, за землю запинается, голова на шее, как репа. Вон Тимоха Тиун мимо не пройдет, чтобы не ущипнуть, говорят, сватов ладит. И не откажу, пойду за него. А ты локти будешь кусать, а поздно, ан нет, придется Пинку Верховку брать, у нее и наряды-то чужи, да и в бане по месяцам не моется, моды уж такой нету...»

Только у крайней избы замедлила шаг, пробовала унять сердце, а робостью застлало глаза, и куда только смелость и речистость девались. Подле Курьи-протоки бабы, мужики, едва протолкалась сквозь потные тела, от мужиков несло хмельным перегаром, пихалась Тайка острыми локтями, не жалея шелковых рукавов, и в этой куче осмелела и уже смогла глянуть на круг, который вели девки-хваленки да молодухи. У всех глаза стыдливо опущены долу, губы скромно поджаты, на щеках румяна, и зоровой огонь пробивается сквозь промытую сывороткой с яйцами кожу; поступочка ровная, поставь на плечи стакашек с водой –

капли не выльют, а от алых платов, от жемчуга и бархата больно глазам: каждая девка цветом цветет, рада из самой себя прорасти.

Тут и на Тайку взгляды оборотили, зашептались: «Это не Тайка Заугольщица, Петры Афанасьича девка? Сам-от где, хозяин?» А сам стоял на пригорке вместе с каяфом Тиуном, рядом и сын Тимоха, косоплечий парень в кумачовой рубаше. Сразу выглядел Петра девку свою, от сердца отлегло, думал на плохое, не случилось ли что ненароком. Круг вьется уж поболее часу, а Тайки нет и нет, словно водой смыло. Обрадовался, но виду не показал, посмотрел сбоку на постное Тиуново лицо – начетника с бородавкой под правым глазом, между прочим заметил: «Воно и моя девка прискочила...» А сзади льстиво: «У Тайки Чикиной наряд от всех отличный, глаз бы с этого наряда не сымала». – «Дак у самого-то, слава Богу, мощна, последнюю дочь не уронит, бат, не позволит в рамках на люди выйти».

Евстоля тоже подле отца хлопотала, жалась к его широкому жаркому боку и, чтобы улестить Петру за мужнюю провинность, нашептывала: «Ой-ой, сумеет ли Тайка выступить, сумеет ли гунушки сделать?»

– Не каркай, – сурово одернул Петра, ожидая тайно, что скажет Тиун. Он Петры Афанасьича побогаче, у него и слово весомее. Оттого ждал похвальбы, что приценивал свою девку за Тимоху отдать.

– Баска у тебя меньшая, королева, – суховато сказал Тиун и как бы сразу просватал своего парня за Тайку: ведь кому не охота женить сына на богатой королевичне.

А Тайка вошла в круг, скромно поджала губы, очи опустила долу, недаром перед зеркалом вечерами красовалась, и словно век свой хоровод водила; встала Тайка не в охвостье, где бедные девки вышагивали, а в голову, вслед за Санькой Тиунихой, здесь отныне ее место по богатству и благочестию. Первая из чикинского рода так высоко вышла: Евстоля, бывало, с заднего конца крутилась, Манька в серединку попала, а Тайка уже круг повела. Ей по отцу честь.

Ни слова, ни песни в кругу: не положено. Тут деревенское смотренье, всеобщее любованье и выбиратье идет и час, и два, до самого паужна, а потом, когда девки разбегутся, бабы начнут сплетни, помоют девичьи косточки вдосталь, припомнят, за каким углом видели в охапку с парнем да какую копну примяла с ухажером.

А Тайка скорехонько приобыкла, сначала еще на выступки поглядывала, как бы не оскользнуться на вытертой траве да как бы не наступить на малиновый штоф Саньки Тиунихи, но вскоре осмелела, опять завспоминала Доньку: неужто в избе сидит и даже на круг не придет, чтобы девку-хваленку себе в жены высмотреть? Так подумала только и Доньку увидела, голубые глаза его радостные и потерянные. И тут небо расколосось, не углядели люди, как навалилась черная туча, первые капли скатились тяжело, будто градины, а следом пошел такой ливень, такой ливень... Но девки-хваленки не растерялись, юбки на головы, заскочили на гумно, там вся чинность пропала, стали хохотать, отряхиваться, словно мокрые курицы; и в сумерках парни подступили ближе, пробовали щупать хороводниц, порой получая по мокрым щекам увесистые гостинцы.

Доньке с похмелья было стыдно являться в дом на глаза отцу, а тот и слова бранного не скажет, но молчанье его будет хуже ругани. Вышел на берег, сонно прошел угором, в свою баню скользнул и на прохладном полке уснул. Сколько спал, не помнил, только очнулся – показалось, будто ночь белая, тишина лилась из сажных углов и где-то тонко позвенивало. Смутно провел рукой по лицу и не почувствовал его, что-то хотел вспомнить – и не мог, сполз с полка, задевая рыжими волосами черный потолок, голова закружилась, и повлекло Доньку на ватных ногах, как дитя малое, на боковую. Зачем пересиливал себя – не знал, но только спустился из бани к реке и долго стоял на коленках, купая лохматую голову в мелкой зацветшей воде, потом рубашу и порты замыл, но Доньке все еще казалось, что от него

за версту тянет хмельным перегаром. Фу, мерзость какая, думал он, веком не задену, и как только люди пьют, из кабака за уши не оттянешь. Поднялся весь мокрый и пошел берегом, будто по пеньковому канату, натянутому через овраг.

Солнце пекло, а Доньке поначалу было знобко, пока не прошел угар. За деревней увидел толпу и только тут вспомнил, что нынче Петровщина, а значит, девки-хваленки выставляют себя напоказ; сейчас небось расщепериваются, лицо строят постное да скромное, расставляют силки для простодушных парней, а те небось и тают, словно апрельский снег под солнцем, и в мыслях один Бог знает, что бродит греховное. А его, Доньку, на эту удочку не поймать, еще не родилась та, которая окрутит.

В толпе Доньку помяли, потискали в спину и в грудь, но голова его была над людьми, и казалось, что все солнце полилось на его рыжие волосы, а в глазах рябило от цветастой девичьей лопатины. Может, от душной предгрозовой поры или от этого странного одиночества посреди толпы, но только парень загрустил, разжалобился, в груди подташнивало и зыбко кружилась голова. Как в детстве, Доньке захотелось участия, и, напрягая ослабшие веки, чтобы лучше видеть, он с какой-то жадностью стал вглядываться в хоровод, словно вспомнил, что ему девятнадцать скоро; и любопытство зажглось в глазах. И в шелестящей шелково-бархатной волне он постепенно выделил лица; они поначалу были туманны и бледны в кумаче лент и повязок, потом некоторые стали останавливать его взгляд неожиданным поворотом головы или лукавством взгляда. И тут... Говорят, это и есть судьба, а иначе чем объяснить, что Донька, затурканный работой и вином, не проспал безмятежно в тихой прохладе баньки до белесого вечера, а очнулся вдруг и, пересиливая себя, потянулся берегом реки, как по пеньковому канату, через овраг, и что-то непонятное томило его и влекло за крайние избы, где волнами ходил тревожный и счастливый гул. Может, это и есть судьба? Кто знает, кто знает, но тут Донька внезапно увидел Тайкины печально недоступные глаза и словно проснулся...

После паузна – легкой дневной выти – малые ребята помчались по деревне, расхлестывая мутные ливневые лужи, и зазывали на вечеринку девок, а молодцов не приглашали, обходили стороной: те должны как бы сами по духу узнать.

Евстоля, уже совсем грузная, порыжелая, сидела на лавке, вила кудель, часто потирала под грудью и мучительно морщилась. Калина плел лапти-мокроступы; Донька сидел у красного косячатого оконца и тосковал.

– Вы чего воровски-то спустили шкуну? – вдруг спросил отец. – Веком такого не бывало, сколько себя помню. С придурью Егорка-то?

– Спроси у него...

– А ты чего такой? – подозрительно спросил Калина.

– Какой уж есть...

– Но-но...

– Отстань, чего к парню привязался, ты не слушай его, Донюшка, – по-матерински заступилась Евстоля, и Донька впервые благодарно улыбнулся ей. – Ты поди куда ли, парень...

– Воровски тоже... От ведь, ну и ну, – качал головой Калина. – Будто каждый день шкуны строят. Дак что Егорко, что Гришка Деуля – одна ягода. Бывало, так не поступали.

– На бывало-то мох вырос, – грубо возразил Донька и осекся, с тоской ожидая грозы.

– Ты бы, Донюшка, поел че. Ровно святым воздухом живешь, – опять спасительно заступилась Евстоля. – С ночи ушел, а когда явился.

– Донюшка, Донюшка, чичкаешься тут перед ним, – передразнил Калина, – а он больно хорошо на пьянство встает.

– Осподи, чего на парня валишь...

– А ты помолчи, не стрекоти, – оборвал Калина. – Говорю, дак знаю. Егорку-то Немушку едва в избу заволокли. Так и не потонули. Тоже задумали пьянку середь воды учинять.

– Ну и ладно, чего тебе, – снова огрызнулся Донька, досадуя на себя.

Евстоляя напряглась, не зная, как унять ссору, но все неожиданно обошлось мирно. Калина глянул сыну в глаза, увидел в них растерянную мольбу и сухо посоветовал:

– Ты поди куда ли подальше от греха...

Донька торопливо, чувствуя в душе томительное беспокойство, нарядился в кумачовую рубаху и плисовые штаны, выскользнул из дома. На улице солнечно парило, и в желтых лужах купались желтые воробьи. В верхнем конце за ручьем гомонили парни, значит, у Марфы-заручьевской нынче вечеринка. Уж с год, наверное, Донька не бывал на игрищах, да и не особо тянуло его туда; вечерами сидел в избе в длинном кожаном фартуке и резал из дерева поделки. А нынче зачем-то шел и робел в душе – и оттого напустил вид независимый и голову держал высоко. Желтые цветики-плешивцы еще не обсохли, на толстых резных листьях дрожала студенисто вода, Донька ширкал сапогами и сбивал солнечные шляпы. Кожаные переда намокли и радостно засияли.

Около Марфиной избы на притоптанной лужайке возились парни – боролись попарно, хватая друг дружку за ворот рубахи, норовили повалить соперника подножкой на мокрую траву. Тимоха Тиун, косоплечий, жилистый, с маленьким девчоночьим ртом парень, весь запотел: наверное, только что барахтался и кого-то положил на лопатки, а сейчас бахвалился, и белая слюна азарта пузырилась на губах.

– Я, бывало, Сеньку Кибасника кинул...

– Бывало, баба с похмелья хомут съедала, а поутру встала и дровень не стало. А он – бывало, – неожиданно для всех поддел Донька, еще на подходе расслышав громкую похвальбу.

Парни довольно засмеялись, а Донька хмуро встал напротив и давай раскачиваться на длинных ногах, зло темнея глазами. Ему захотелось, чтобы Тимоха кинулся на него, и тогда бесшабашно почесать кулаки, вытереть этому хвостуну сопли под вздернутым носом. И Тимоха, будто обиженный петух, пошел навстречу, встряхивая русые кудри, скаля мелкие зубы: красив и задирист Тиун и словно сплетен из вязкого верескового корня. Его подножкой не бросить и через себя не кинуть за пояс, кошкой встанет, а если бить, так только в носырю, в круглые черные ноздри, и чтобы юшкой залился. Так подумал Донька, и руки его, распыленные от топора, с деревянными мозолями, так похожие на тяжелые весла, жадно шевельнулись: никак не знал парень в себе такой сладкой злости, от которой скрипят зубы. Но он ждал внешне равнодушный, и только голубые глаза налились свинцовым блеском.

– Эй, Дюля, я тебе сопатку набок исделаю, – стращал Тимоха, вроде бы отступаясь от драки, но ноги ступали по-рысьи, искали боевую опору... – Ой, хитер-бобер, собрался на кривой дороге объехать.

– Тимоха на горке кишки продает: почем кишки, по три денежки, – еще травил Донька.

И Тиун распрямился, словно кто кинул его вперед, правой ногой нацелил в живот, но и Донька, слава Богу, в детстве не раз точил кулаки, откачнулся в сторону, и еще Тимоха не коснулся травы, он выбросил вперед длинную руку, целя в черные ноздри, но угодил своей кувалдой в лоб парню. Тиун опрокинулся на спину, тупо моргал, соображая, ибо всю память и горячку вышибло из головы.

– Тимоха, чего нашел? Чур, на двоих, – скалились парни; тут выскочили на взвоз девки, зазвали ухажеров, и им сразу стало скучно смотреть на петухов, да и драка не получилась, потому все повалили в избу, и Донька следом отправился, потирая кулак. Злости уже не было, и радости от победы тоже не было, только непонятная горячка не покидала душу. Тимоха

плелся следом, скулил от обиды, ему хотелось подраться, но и сзади не по деревенским правилам нападать.

– Ты чего, трусишь, да? – ныл он. – Так нечестно... в морду хошь? Получишь. Сопатку надвое раскрою.

– Ну ужо, ну чего ты, после побьешь, я тебе подставлюсь, – басил Донька. – Давай мировую, а? Злой я нынче, а с чего злой?

– Да, чего, лезет тоже. Я оногдысь Сеньку Кибасника как бросил...

В избе вдоль стен стояли лавки, полы с дресвой вымыты, еще не затоптаны, и стены вышорканы голиком: парни в складчину рядили избу под вечеринку, и хозяйка постаралась, чтобы угодить молодым. Девки уже гуляли веревочкой: ходили круто, взявшись за руки, только сарафаны вились, путали по избе узорочье: «Уж я улочкой шла да переулочком шла, клубок ниточек нашла-а, клубок катится да нитка тянется...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.